

Михаил Бойцов

**Символический мимесис —
в средневековье, но не только**

В 1991 г. российская политическая элита оказалась перед необходимостью срочно искать решение множества животрепещущих задач одновременно. В частности, новую российскую государственность требовалось как можно скорее снабдить символической оснасткой. Иными словами, нужно было заново разработать всю государственную символику, и притом в сжатые сроки. Смена государственного флага, государственного гимна и государственного герба оказалась, конечно же, в политическом отношении делом далеко не простым — вспомним яростные споры вокруг триколора и двуглавого орла или затянувшуюся до бесконечности историю с мелодией и текстом гимна. И все же в каждом из этих случаев дело шло не более, чем о замене одного — устаревшего — «символического объекта» — другим, который хотя и был новым (или же хорошо забытым старым), однако относился к тому же самому морфологическому типу, что и прежний.

Намного интереснее оказалось, однако, наблюдать за усилиями власти выстроить нечто впечатляющее на таких «символических полях», которые в советские времена либо никак не обрабатывались, либо вообще не были еще открыты. Такую целину представляло собой, например, «символическое оформление» должности Президента Российской Федерации, которой, естественно, в советской номенклатуре никогда ранее не значилось. Впрочем, и Генеральные секретари ЦК КПСС, Председатели Верховного Совета и Совета Министров СССР не использовали никаких особенных инсигний, «выражавших» их высокое положение. Это не означает, разумеется, что советские вожди вообще были лишены всякого «знакового ореола». Достаточно вспомнить о высокой символической насыщенности (и даже перенасыщенности) образа И.В. Сталина. Однако система символической репрезентации в Советском Союзе основывалась

на иных, нежели на Западе, основаниях и выстраивалась поэтому при помощи по большей части весьма специфических средств, на которых здесь нет возможности специально останавливаться.

Президент новой, предположительно демократической и по мере возможности вестернизированной, России срочно нуждался, однако, как раз в знаках власти «западного типа» и притом в немалом числе. Действительно, глава нового государства довольно скоро получил целый ряд собственных инсигний разного рода: штандарт, личную гвардию в киверах времен наполеоновских войн, фанфары, парадный экземпляр текста Конституции¹ и, наконец, золотой Знак Президента Российской Федерации в виде носимого на цепи «равноконечного креста с расширяющимися концами», с «накладным изображением Государственного герба Российской Федерации в центре» и девизом «Польза, честь и слава»² на обороте...

Не задерживаясь на уровне официальных торжественных государственных символов, рассмотрим поближе одну совсем неброскую деталь в облике нового носителя власти. Помимо всего прочего, было решено, что так называемый «ядерный чемоданчик» (или на кремлевском жаргоне «кнопку») — т.е. пульт управления стратегическими ядерными силами, с которым президент не должен расставаться, будут за ним носить офицеры спецсвязи в форме военно-морского флота. Почему, собственно, этим адъютантам (служащим, кстати, не в вооруженных силах, а в службе охраны президента) следует одеваться именно в эту форму, а не носить мундиры и погоны, скажем, летчиков, танкистов или ракетчиков? Объяснение было дано четкое: черная форма ВМФ отличается от цветов всех остальных частей российских вооруженных сил, а потому наш президент в возможной кризисной ситуации не затратит ни единой лишней секунды на поиск «ключевой фигуры» в своей свите, которая в тот трудный момент может состоять из многих офицеров с атташе-кейсами³.

Такое обоснование звучит очень предметно, исключительно трезво и подчеркнуто прагматично. Пожалуй, даже слишком предметно, необычно трезво и чересчур прагматично на фоне обычно довольно расплывчатой аргументации, свойственной нашей политической и околополитической риторике. Однако в комментарии компетентного лица, промелькнувшем тогда то ли в прессе, то ли на

радио, прозвучала и фраза, которая, пожалуй, все расставляла по своим местам: «А кроме того, именно так заведено в Соединенных Штатах Америки уже много лет подряд».

Тут-то и стало ясно: внешний «прагматизм» решения о цвете униформы обманчив — в действительности дело идет вовсе не о прагматике, а, напротив, о чистой символике: новому российскому президенту нельзя выглядеть менее убедительно, чем его американскому контрагенту. Однако историку культуры, пожалуй, тут более всего интересно то обстоятельство, что российскому президенту предстояло обеспечивать собственный *grandeur* при помощи тех самых приемов, с которыми уже много лет подряд привык обращаться глава американского государства. Новому «человеку власти» приходится, таким образом, говорить не на собственном символическом языке, а на используемом его коллегой, занимающим весьма авторитетную и давно уже хорошо известную в мире должность.

Здесь стоит в скобках заметить, что богатая мифология, сложившаяся в американских средствах массовой информации вокруг «ядерного чемоданчика» в качестве «главной инсигнии» правителей XX (а теперь уже и XXI) века, была совершенно чужда позднесоветской культуре — и соответственно пока что плохо прививается и культуре постсоветской. В Советском Союзе так и не произошло сакрализации по американскому образцу скромного «дипломата» и вознесения его до уровня основного символа сверхдержавы с глобальными амбициями. Даже сегодня, несмотря на сильную американизацию российской символической сферы, не стоит ожидать от отечественных средств массовой информации, чтобы они вдруг стали по примеру американских журналистов с настырностью и едва ли не истеричностью раскапывать, где сакраментальный чемоданчик с пультом запуска ракет находился, скажем, в те бесконечно долгие полчаса, которые президент в прошлый вторник провел вне распланированного распорядка там, куда даже президентам приходится ходить пешком...

Хотя такой чемоданчик и стали носить в свите генерального секретаря ЦК КПСС, начиная (если верить прессе) примерно с 1983 г., советское общественное мнение не восприняло этого обстоятельства сколько-нибудь серьезно: каждому было ясно, что при необходимости наши ракеты как-нибудь да стартуют — при

помощи ли этого чемоданчика или же (возможно, даже еще лучше) без него. Да и вообще неясно, действительно ли появление офицера с чемоданчиком за спиной у генерального секретаря вызывалось военно-политической необходимостью или же было чем-то вроде знака вежливости в отношении западных партнеров: генсек с чемоданчиком должен был им казаться несколько понятнее, чем без чемоданчика, а вместе с этим понятнее вроде бы становился и весь процесс принятия «Советами» решения о начале ядерной атаки. Как бы то ни было, внутри нашей страны техническое устройство так и осталось всего лишь техническим устройством и не претерпело никакой символизации⁴. Вот и офицеры, носившие пульт за советскими правителями, были, согласно свидетельству знающего человека, одеты в повседневную общевойсковую форму и внешне ничем не выделялись⁵.

* * *

Пример с чемоданчиком и униформой проясняет, как представляется, некоторые весьма существенные стороны политического символизма.

Во-первых, в сфере символического действуют, грубо говоря, два принципиально различных видов «акторов» (если использовать так полюбившееся многим неблагозвучное словечко из нынешнего социологического жаргона): с одной стороны, доминирующие «изобретатели» или «производители» символических образцов, т.е. символов власти, приносящих престиж их обладателям; с другой же — «реципиенты», со старательностью, а то и рвением стремящиеся как можно точнее перенять эти, «произведенные» другими, символы. «Производители» символических образцов встречаются редко, и число их вообще мало по определению: хотя бы уже просто потому, что они должны занимать ведущие позиции в определенных областях жизни (политика, технологии, экономика). Доминирующих субъектов всегда, естественно, намного меньше тех, над кем они доминируют. И без развернутой аргументации ясно, что любые символические формы, выражающие господство, власть, величие (например, инсигнии) могут заимствоваться лишь от тех «производителей», которым удалось достичь вполне реального, а не одного лишь символического успеха.

Во-вторых, из уже сказанного само собой следует, что при исследовании символического стоит рассматривать не столько каждого из указанных «акторов» по отдельности, сколько сразу их «сообщества», каждое из которых состоит из немногих «производителей» и многочисленных «реципиентов». Иными словами, как возникновение, так и функционирование символических форм следует анализировать не в каждой отдельно взятой культуре, но в рамках всей «символической системы», состоящей из определенного «центра» и его «периферии». Чтобы разобраться в топографии каждого такого комплекса, необходимо прежде всего установить доминирующие векторы заимствований в области символического.

В-третьих, символическое часто скрывается в том, что выдает себя «всего лишь» за прагматическое. Необходимо иметь в виду, что нечто, выглядящее на первый взгляд совершенно «прагматически», в действительности весьма часто соотносится с чем-то совершенно иным, в том или ином качестве представляющим некие «высшие» ценности. В дискуссии о цвете офицерской униформы содержится куда более общий скрытый смысл: речь идет ни много ни мало как о поддержании престижа одной былой сверхдержавы в той сложной ситуации, когда от ее легендарной мощи мало что осталось. Но, как известно, символическое возникает как раз там, где вещи не являются идентичными сами себе, а соотносятся с определенными, более или менее общими или даже трансцендентными ценностями.

То, что некоторые «символические центры» предлагают авторитетные символические образцы, затем быстро или же, напротив, со скрипом усваиваемые на «символической периферии» (а точнее говоря, на *различных* перифериях — отдаленных друг от друга, возможно, и в пространстве и во времени, и по своим культурным установкам), вовсе не является новшеством последних десятилетий, хотя сегодняшняя массовая культура и современные средства коммуникации неслыханно интенсифицировали такого рода процессы, придав им воистину глобальный характер. Нечто очень похожее мы встречаем и сотни лет назад. Так, скажем, в XVII—XVIII вв. самый влиятельный центр «символического производства» в Европе находился, надо полагать, в Париже вместе с соседним Версалем. Об этом и сейчас еще напоминает живой пережиток той славной эпохи

— общепризнанное лидерство французов во всем, что касается «тюрлюрюлю атласных»: парижские дома моды, удачливые наследники версальского двора, сияют отсветами лучей короля-Солнце.

В куда более далекой поздней римской империи легко обнаруживаются сходные явления и процессы. Однако сам «Золотой Рим» отнюдь не всегда и вовсе не по всем вопросам представлял собой «символическую метрополию». Благодаря Андреасу Альфёльди⁶ и другим историкам, занимавшимся символикой власти у потомков Энея, становится известно, как римские императоры постепенно, но последовательно перенимали для своего символического «снаряжения» приемы репрезентации, издавна характерные как для ближневосточных эллинистических монархий, так, прежде всего, для Ирана.

Доминирующий вектор символических заимствований может быть определен для той эпохи, похоже, вполне однозначно: символические образцы *производились* в восточной части Средиземноморья, а *реципировались* в западной его части. Потребность в таком «символическом импорте» определялась не в последнюю очередь тем, что «собственные» (заимствованные у этрусков) символы монархической власти были в Риме после свержения царей либо долгое время табуированы (диадема, скипетр, высокий трон), либо же переняты республиканскими магистратами и переосмыслены (фасции). Один вполне предметный пример этой, в свое время массовой, миграции символов власти из Азии на Запад можно еще и сегодня наблюдать воочию: это тиара — нелитургический головной убор римских пап. В свое время тиара проделала неблизкий путь из Персии через резиденции римских императоров на востоке и западе их державы в город апостолов Петра и Павла.

Вряд ли вызовет удивление то, что типологически сходные процессы символических заимствований постоянно обнаруживаются и в средневековье. Один локальный пример. В 70-е годы XV в. при иннсбрукском дворе эрцгерцога Зигмунда Тирольского было задумано провести реформу придворного распорядка. При этом предполагалось прежде всего реформировать организацию княжеского застолья. Соответствующий документ, хранящийся ныне в Тирольском Земельном архиве, начинается словами: «Заметь порядок рассаживания при дворе, чтобы при дворе каждый ел таким же образом, как это соблюдается при дворах других

князей⁷». Следующий далее текст кажется составленным ради чисто прагматических целей: в нем устанавливается по большей части, за какой стол кого из многочисленных придворных и гостей эрцгерцога следует усаживать. Однако уже одна лишь чуть выше процитированная фраза из введения не оставляет сомнений в том, что упорядочивание княжеских застолий должно было служить не только укреплению иерархии и ежедневному обновлению рисунка социальных связей внутри придворного сообщества, то также и целям княжеской репрезентации. Иначе говоря, автор документа стремится импортировать извне новую символическую форму — в соответствии с ведущим для него принципом «как принято соблюдать при дворах других князей».

Точно так же, как и в случае со стражами ядерного чемоданчика, подлинный смысл происходящего оказывается здесь в перенимании не столько «прагматических» институций, сколько прежде всего связанных с ними символических форм — а те, во-первых, представляют собой определенные «высокие» ценности, а, во-вторых, заимствуются из авторитетных источников. Вряд ли можно уверенно назвать те «дворы других князей», на которые глухо указывал анонимный реформатор тиролевских порядков как на свои образцы. Лишь с некоторой долей вероятности допустимо предположить, что он мог подразумевать, скорее всего, либо бургундский двор, либо же дворы итальянских государей.

Конечно, «устройство» позднесредневековой Европы было слишком сложным, чтобы пытаться однозначно идентифицировать для той эпохи какой-нибудь один более или менее доминирующий центр «символического производства», подобный Парижу (Версалью) более поздних времен. Пожалуй, лишь на протяжении относительно короткого отрезка времени в XV в. в качестве важного центра распространения «символических форм» придворной жизни позволительно рассматривать Бургундское герцогство. Впрочем, многое говорит за то, что и ранее — по крайней мере в XIV в. — скорее всего именно французские земли (хотя и не обязательно «королевской» Франции) играли роль «главной фабрики» символики власти — по крайней мере к северу от Альп. Во всяком случае, именно в пользу такого предположения говорит, скажем, быстрое распространение в этом столетии по Европе (Германия, Венгрия, Чехия и Польша)

нового церемониала королевских погребений, корни которого стоит искать, судя по всему, где-то на юге современной Франции⁸.

Был ли случаен столь убедительный успех определенного стиля погребальной символики или он уже знаменовал собой начало складывания более или менее единой (в пределах католических стран Европы) символической системы репрезентации власти, сказать пока что трудно. Как бы то ни было, самое позднее в XVI—XVII вв. такая система, рождается и постепенно распространяется на все новые земли. Как раз упомянутая выше весьма характерная модель погребального церемониала (разумеется, постоянно развивавшаяся от века к веку) может служить своего рода маркером: там, где перенимали ее, заимствовали и прочие элементы «общеευропейского» набора средств символической репрезентации власти. Вполне закономерно, что в России первыми «государевыми похоронами» подобного типа стало погребение императора Петра I в 1725 г.

Впрочем, стоит учитывать, что эта поздняя волна «символической унификации» была в Европе уже не первой. Главные основания для символического единства закладывались на протяжении поздней античности и раннего средневековья христианством. Куда бы ни приходила новая вера, она приносила с собой определенный набор образов и символов, связанных с властью, модифицируя или даже «отменяя» предшествующие символические системы. Разумеется, поверх возникшей таким образом общей христианской символической основы проявлялись более или менее серьезные региональные и локальные отличия. Они могли постепенно сглаживаться, однако существенно в данном случае прежде всего, *каким именно* путем такое сглаживание происходило. Известно слишком мало примеров «современной» схемы, когда «все» более или менее независимо друг от друга заимствуют символические формы у «одного» — носителя основного «авторитетного образца». (Действие такой простой «центрической» схемы заметно на протяжении большей части средневековья по большей части на локальном или региональном уровнях⁹). На протяжении значительной части средневековья «обогащение» региональных символических систем и отчасти их сближение происходило, судя по всему, скорее в результате многочисленных *двусторонних* (а иногда и многосторонних) взаимных заимствований, когда постоянные политические контрагенты (партнеры-

противники), такие, скажем, как папа и император¹⁰ или король Англии и король Франции перенимали друг у друга наиболее выразительные формы символической репрезентации.

В целом «рисунок символических заимствований» был на протяжении большей части средневековья очень сложным, и определить в нем сколько-нибудь постоянно действующие векторы трудно: их направления часто менялись, локальных и региональных центров различной силы влияния было множество, а проявляли свою влияние такие центры обычно только в узких сферах символизации или даже лишь в «штучных» символических формах — «задавали», например, определенный тип капителей или же некий тип княжеского престола.

Однако в эпоху примерно до XII в. картина, пожалуй, предстает не столь запутанной. Несмотря на весь партикуляризм отдельных европейских сообществ, в тот период можно было, кажется, наблюдать больше единства в «символическом устройстве» политической ойкумены, чем в высоком и позднем средневековье.

* * *

При анализе определенных символических форм, будь то предметы, изображения, жесты, архитектурные детали или ритуалы, стоит, вероятно, принимать во внимание весь ареал распространения таких «носителей символического», чтобы ясно представить себе, какое место та или иная конкретная символическая форма занимала в пределах *всей* зоны своего использования: лежала ли она, скажем, в центре, «продуцирующем символы», или же на периферии. А если на периферии, то на какой именно, ведь каждая из них могла выработать, помимо прочего, и собственную манеру восприятия и осмысления форм, пришедших из «символической метрополии». Чтобы продемонстрировать, насколько широким при этом должен быть порой угол зрения историка, стоит привести один наглядный пример. Возможно, он несколько сгущает краски, но именно поэтому лучше объясняет дело.

Рис 1-3 На рис. 1 и 2 изображены планы двух построек, служивших некогда, судя по всему, одним и тем же целям. Их возводили как залы для приемов и иных

важных «государственных актов», при которых предполагалось присутствие государя. Здание № 1 относится ко второй половине VIII в., здание № 2 датируется рубежом IX и X вв. Первая *aula regia* более не существует: от нее остались только фундаменты, и потому с большей или меньшей уверенностью удастся реконструировать лишь первый ее этаж. Вторая *aula regia*, напротив, сохранилась целиком, хотя уже с давних пор используется в иных, чем предполагалось изначально, целях.

Трудно не заметить сходства концепций построения репрезентативного пространства в обоих дворцах — не только в прямоугольном плане их обоих, но также и в некоторых других ключевых элементах. Прежде всего бросается в глаза обогащение одной из узких сторон каждого из зданий апсидой, — очевидно, акцентировавшей важнейшую часть внутреннего пространства. Сходны между собой и противоположные стороны обеих построек: и в здании № 1, и в здании № 2 там расположены лестницы, ведущие со скромного, судя по всему, первого этажа на второй — репрезентативный. Разница здесь состояла лишь в том, что в первом дворце лестница была вынесена в отдельный объем, а во втором ее включили в основной массив здания. Кроме того, похоже, что здесь ей отводилось большее значение в общей архитектурной концепции, нежели в здании № 1.

Примерно сходным образом использовались, должно быть, первые этажи: и там и здесь этот уровень постройки был поделен на много небольших «равноправных» помещений с явно служебными функциями. В чем именно состояли эти последние, толком неизвестно, хотя предположения напрашиваются сами собой: здесь удобно хранить разнообразные припасы и, возможно, размещать часть прислуги и охраны, пока на верхнем этаже устраивается какое-нибудь торжественное действие.

Есть и отличия. Во-первых, здание № 1 было существенно больше, чем здание № 2. Во-вторых, продольные стороны здания № 1 украшают две большие конхи. Однако с ними дело просто: такие конхи сами по себе не определяли тот или иной характерный тип построек, а представляли собой своего рода факультативные дополнения, так что сами по себе они не должны ослаблять общее впечатление о принципиальной близости друг к другу «строительных идей» этих двух дворцов.

Куда более существенная трудность ожидает нас на втором — репрезентативном — этаже здания № 2 (рис. 3). С одной стороны тут обнаруживается именно то, что и следовало бы ожидать специалисту в области дворцовой архитектуры, а именно, две колонны из гранита (надо полагать, в качестве замены дорогого и труднодоступного порфира), фланкирующие апсиду. (Кстати, мы имеем полное право предполагать наличие подобных колонн на том же самом месте и во дворце № 1). Однако с другой стороны несколько удивляет, что вся центральная часть зала занята практически изолированным помещением, в котором, вероятно, князь и восседал при «государственных актах» во всем блеске своей власти. Если это помещение было выделено с самого начала, оно, очевидно, должно иметь отношение к идее сокрытия государя как сакральной полубожественной фигуры. Вероятно, правитель пребывал там спрятанным от взоров большинства или всех его подданных, возможно, за занавесями, которые было бы весьма удобно прикрепить к четырем колоннам по углам центральной «камеры» (одна колонна к настоящему времени утрачена).

Польский исследователь Влодзимерж Годлевски¹¹, исследовавший здание № 2, предложил в качестве параллели этому памятнику дворцы болгарских царей в Плиске и Преславе¹². Все сказанное чуть выше позволяет, как представляется, включить в этот же ряд и здание № 1, притом не в одиночку, но вместе со всеми другими сходными по архитектурному решению дворцами, строившимися примерно в то же время в ближнем и дальнем соседстве от него. В результате мы получаем в высшей степени интересный ареал распространения определенного типа дворцовой архитектуры, маркируемый следующими пунктами: только что упомянутыми Плиской и Преславом в Болгарии, зданием № 1 (в нем читатель, вероятно, уже давно справедливо угадал залу пфальца Карла Великого в Ахене) и зданием № 2, являющемся с 1317 г. мечетью, и находящемся в Старой Донголе на левом берегу Нила в Нубии (на территории сегодняшнего Судана).

Перечисленные географических привязки (Ахен, Донгола и Плиска / Преслав) представляют весьма различные во многих отношениях регионы и общества, общее между которыми состоит, однако, по меньшей мере, в одном пункте: все они оказываются, очевидно, перифериями одного и того же «символического центра». Где же он находился? Если искать ответ на этот вопрос

только из перспективы одного из указанных регионов, результаты могут сильно расходиться. Историк, специально занимающийся каролингской архитектурой, укажет, скорее всего, в качестве источников вдохновения для ахенских строителей на Константинову «базилику» в Трире, на резиденции лангобардских королей в Северной Италии и на Латеранский дворец в Риме. Для некоторых болгарских историков характерно стремление разыскивать истоки архитектуры Плиски и Преслава не столько в близкой Византии, сколько в далекой Азии (например, в Хорезме). Свои региональные параллели, наверное, можно было бы при желании обнаружить и в случае с Донголой. Однако стоит только начать рассматривать наши три объекта в едином ряду, как сразу же меняется угол зрения, выявляется недостаточность каждой из локально-региональных интерпретаций, — отчего возникает потребность в каком-то более или менее синтезирующем объяснении.

Тот же В. Годлевски усматривал как в донгольском дворце, так и в древнеболгарских резиденциях имитации одного и того же здания — т.н. Магнавры — зала для приемов в комплексе Большого Дворца в Константинополе¹³. Магнавра (название происходит от Magna Aula), построенная, если верить традиции, еще Константином Великим¹⁴, — известна не только византинистам, но и медиевистам-западникам благодаря впечатляющему описанию Лиутпранда Кремонского аудиенции, которую дал ему именно в этом зале император Константин VII Багрянородный. При всей привлекательности гипотезы В. Годлевского его увязка нубийских и болгарских «резиденций» именно с Магнаврой представляется несколько прямолинейной. В конце концов, от Магнавры (как и от многих других важнейших византийских памятников) не осталось ни единого камня, который можно было бы привлечь для сопоставительного исследования. Хотя общее представление об этой постройке у историков есть¹⁵, им явно не хватает знания многих существенных деталей. Соответственно, резонно предложить более осторожную, чем у В. Годлевского формулировку: Магнавра могла бы послужить историку примером того, как некую символическую идею понимали в «центре», в «символической метрополии», в то время как все прочие дворцы, упоминавшиеся выше (включая, кстати говоря, и Латеранский), показывают нам, как та же самая идея интерпретировалась на различных «символических перифериях».

Само собой разумеется, что исходный образец как для Магнавры, так и для всех остальных зданий такого же типа был выработан еще в поздней античности. Благодаря новым находкам позднеримская «государственная» архитектура становится в последнее время известной историкам все лучше и лучше, хотя сплитский дворец ушедшего от дел Диоклетиана и остается по-прежнему наиболее изученным памятником в ряду императорских резиденций¹⁶. Был ли интересующий нас здесь тип тронного зала сконструирован в Риме или же он, как и многое иное, пришел туда с Ближнего Востока и всего лишь получил у римлян дальнейшее развитие — в данном случае значения не имеет. Существенно лишь то, что империя распространила по всей ойкумене этот тип репрезентативного здания (как и некоторые иные, например, тип центрической октогональной постройки, который в средние века ожидает большое будущее).

Тем не менее, объяснять сходство названных выше «тронных залов» на Балканах, в Нубии и Рейнской области *непосредственной* рецепцией каждой из этих культур древнеримского архитектурного наследия было бы, как представляется, неверным. Символические формы такого рода перенимаются одной культурой от другой не за их технологические или тем более эстетические качества (что бы ни говорили порой искусствоведы), а из-за качеств символических, освящающих своим авторитетом технологические и эстетические особенности и только и придающих им ценность. Широко рецепируется лишь такая символическая форма, которая окружена ореолом власти — неважно, действительно стоящей за ней, или же «только» связывающейся с ней в воображении современников.

Соответственно нужно и подходить к поиску причин, побуждавших строителей резиденций в разных частях средиземноморского мира «актуализировать» римский образец в VIII в. (Ахен) в начале IX в. (Плиска) и на рубеже IX и X вв. (Преслав, Донгола). Было бы анахронизмом приписывать раннесредневековым мастерам «просто» тягу к антикизированию и тем более склонность к инструментализации культурных форм прошлого ради актуальных политических целей — как это практиковал европейский историцизм XIX в. с его псевдогоготической, псевдороманской, псевдоренессансной и проч. «исторической» архитектурой. Поэтому предположение о том, что зодчие VIII—IX сознательно

«возрождали» репрезентативную стилистику эпохи Августа или Константина — при всей авторитетности обеих фигур, представляется не слишком убедительным. Куда вероятнее, что для них этот стиль был не «антикварным», а самым что ни на есть современным — по той простой причине, что его продолжали использовать и в VIII в. и в X в. — государи, обладавшие исключительным символическим авторитетом что для франков, что для болгар, что для нубийцев — ведь эти-то государи и представляли в свои, согласно нашей хронологии уже вполне средневековые, времена «образцовую» репрезентативную традицию — традицию Римской империи.

Иными словами, символика власти на окраинах Средиземноморья ориентировалась, как и следовало ожидать, на вполне актуальную «систему репрезентации», использовавшуюся в то же самое время в Константинополе. Ту же идею можно сформулировать иначе: конечно Карл Великий мог заимствовать ряд черт облика своего дворца у константиновской базилики из не слишком далекого от Ахена Трира, но если он так и поступил (что само по себе далеко не самоочевидно), то не потому, что хотел воспроизвести стиль Константина, а потому, что в его собственное время в куда более отдаленном, но по-прежнему «образцовом» Граде Константина из вполне понятных идеологических соображений все еще ценили ту, уже довольно архаичную архитектурную манеру, в которой некогда основатель Нового Рима возводил свои резиденции — что на берегу Босфора, что на берегу Мозеля.

* * *

В сфере символика власти и символических коммуникаций провести грань между позднеримской империей и империей ромеев, пожалуй, еще труднее, чем во многих иных областях. Разумеется, эллинизация Византии и практически полное вытеснение к VIII—IX вв. латыни из государственного обихода существенно сокращали силу возможного влияния константинопольского двора на бывшие западные части империи, еще быстрее забывавших греческий. Однако это ослабление связей относится только к сфере речевого общения — устного и письменного. В тех же областях коммуникации, что строились не на слове, а на

изображении, предмете, материале, жесте или даже запахе, Константинополь, похоже, был в состоянии задавать в сфере репрезентации власти более или менее общие «стандарты» вплоть до XII в.

Сначала позднеримские императоры, а затем и василевсы стояли во главе единственного политического образования, обладавшего на протяжении поздней античности и почти всего раннего средневековья бесспорной легитимацией и способного «достаточным образом» легитимировать любые иные, недавно возникшие, политические образования. Несмотря на немногословность сохранившихся источников, они дают основания полагать, что все варварские короли (если они, конечно, желали сколько-нибудь продолжительное время править на землях «завоеванной» ими Римской империи) неизбежно должны были перенимать те или иные черты римской системы репрезентации.

Вожди германских племен одевались, как полководцы римской армии или высшие имперские чиновники¹⁷. Они занимали императорские дворцы, а если строили себе новые — то по образу и подобию императорских. Они охотно принимали титулы высших римских должностных лиц (даже Атиллы был *magister militum*¹⁸), и гордо носили соответствующие знаки своего высокого положения в империи, как Хлодвиг при своем *processus consularis* в Туре¹⁹. Они раздавали своим людям римские придворные звания и пытались по мере возможности подражать императорскому придворному церемониалу. Начиная чувствовать себя увереннее, они надевали пурпурные облачения и золотые венки, усаживались на высокие троны и даже начинали во время торжественных приемов использовать завесу, чтобы до поры до времени скрывать сакральную фигуру короля от взглядов ожидавших аудиенции²⁰. Варварские государи по императорскому обыкновению давали важным городам собственные имена, как вандал Хунирик²¹ и предъявляли своих будущих преемников поданным в цирке, как лангобард Агилульф²². Характерно, что все вышесказанное относится отнюдь не только к считающимся наиболее «романизированными» германцам, вроде остготов Теодориха, но и ко всем другим варварам, включая и тех, что представлялись римлянам особенно им чуждыми, вроде «диких» лангобардов или вандалов.

Старые символические системы, бывшие у варваров до их переселения на римскую территорию (и уже тогда наверняка испытывавшие влияние

символических форм Рима), не могли сохраниться после «завоевания» германцами империи уже хотя бы потому, что их собственным обществам пришлось пережить в то время самую радикальную, если не сказать катастрофическую, трансформацию — куда более разрушительную, чем кризис римской цивилизации.

Разумеется, сама имперская символика не представляла собой неизменного комплекса — она тоже менялась, нередко под внешним (например, персидским) влиянием, а при определенных условиях, возможно, даже под воздействием варваров. В качестве наиболее вероятного примера заимствования у германцев можно привести обычай поднимать новоизбранного императора на щит. Такую процедуру инаугурации впервые упоминает в самом начале II в. Тацит, рассказывая о возвышении вождя одного германского племени из низовьев Рейна. Автор, похоже, исходил из того, что смысл этого ритуала вряд ли понятен всем его читателям, и потому специально разъяснил его²³. Когда же Аммиан Марцеллин спустя примерно 280 лет описывал провозглашение в 360 г. императором Юлиана, он не счел нужным растолковывать, зачем требуется поднимать кого-то на щит — и притом не какого-нибудь варвара, а римского императора²⁴. Был ли Юлиан первым римским государем, которого поставили на щит (в порядке вдохновенной символической импровизации его солдат-германцев) или нет, определенно сказать невозможно, однако само поднятие на щит с тех пор прочно вошло в арсенал символических средств, которыми византийцы «обставляли» (порой в действительности, а порой и только в воображении) восшествие на престол государей. Зато появление со временем сходных обрядов у окружающих Византию варваров — у хазар в X в. и у болгар в XI — вполне можно объяснить воздействием на них уже «инаугурационных представлений» византийцев²⁵.

Хотя германские корни ритуала подъема на щит весьма вероятны²⁶, их нельзя считать вполне доказанными на основании двух процитированных мест из Тацита и Аммиана Марцеллина. Теоретически подъем на щит удачливого полководца мог быть традицией, не привнесенной какими-либо этническими сообществами в римскую армию, а совершенно наоборот: воспринятой ими на службе в ней. Здесь важно подчеркнуть иное: из каких бы источников ни черпались те или иные элементы для системы императорской символики, впоследствии они «узурпировались» или «репродуцировались» на символических перифериях

(например, хазарами и болгарами) не за их изначальное происхождение, а исключительно за то, что они уже прочно связывались в сознании реципиентов с властью римских императоров. У собственно «варварской» символики по сути дела не было шансов пережить процесс превращения власти племенного вождя во власть короля. Как писал Йозеф Деэр в полемике с Перси Эрнстом Шраммом, от старых знаков власти германских вождей не было дороги к инсигниям средневековых государей²⁷. То же самое можно сказать не только об инсигниях, но и о многих иных (может быть, даже всех?) формах репрезентации и «политической» символики.

Римская империя стала неисчерпаемым источником символов и культурных клише, «оформляющих» власть и государственность — и успешно служит таковым еще сегодня. К «римской идее» так или иначе приобщились все крупные европейские монархии как средних веков, так и последующих времен, да и все республики по обе стороны Атлантического океана. «Рим» (как, впрочем, и «Иерусалим») воспроизводился едва ли не в каждом средневековом городе, и когда влиятельные горожане относили себя к «патрициям», а порой занимали должности «консулов», они тем самым лишь в очередной раз подтверждали свою принадлежность к символическому миру Римской империи. «Рим» как организующее и легитимирующее начало мог быть всюду одновременно и нигде конкретно, он мог следовать за своим главой в соответствии с позднеантичной формулой «где император — там и Рим» (или средневековой ее вариацией «где папа — там и Рим»), а мог неподвижно лежать на семи холмах над Тибром — там, откуда Август слал вселенной благословенный мир, а Петр и Павел — слово нового откровения. Рим мог вечно пребывать в упадке, превращаться, деградируя, в Вавилон, и вечно рождаться заново — в Ахене, Праге, Москве, Париже, Лондоне и даже Нью-Йорке. Однако при всей фундаментальности для европейской цивилизации этой идеи Рима как универсального принципа всякого политического бытия, при всей ее увлекательности, завораживающей исследователя бесконечными переливами множества смысловых оттенков, настоящая статья посвящена не ей.

Гипотеза, которая здесь выдвигается, состоит в том, что «общая идея Рима» на протяжении всего раннего средневековья имела и свое более или менее

конкретное воплощение (наряду с целым рядом иных, но все же менее значимых по сравнению с этой, главной). И воплощение это — Новый Рим на берегу Босфора. Жажда приобщения к «римской идее» заставляла современников вставать на разные пути — многие из которых вели, конечно же, в «Ветхий Рим» на берегах Тибра, всегда исполненный ревливой неприязни к своему нежданному сопернику — историческому выскочке, граду Константина. Пожалуй, нагляднее всего «ветхоримский» вариант римской легенды воплотил в своей символической практике Оттон III. Однако в самом «Ветхом Риме» (как и по всей Италии) при всех усилиях пап по выстраиванию на Тибре достойной альтернативы Царьграду, зависимость от константинопольских образцов ощущается вполне отчетливо.

Характерное свидетельство тому — те разделы «Константинова Дара», в которых папы формулируют свои «репрезентативные амбиции». Автор фальшивки желает, чтобы император Константин отдал папе не только свой золотой венец и тиару-фригий, но еще и лор²⁸, пурпурную хламиду, алую тунику, а попросту говоря, все императорские украшения, всё оформление торжественной процессии, включая разные виды знамен²⁹. Составителю «Вена Константинова» хотелось, кроме того, чтобы клирики Римской церкви украшали себя на манер сенаторов или членов императорской *militia*, и в частности, чтобы они могли выезжать на конях, покрытых чепраками из белой льняной ткани³⁰... У нас нет точных сведений о том, как выглядел константинопольский двор в VIII в., но «Вено Константиново» дает нам неплохой материал для понимания того, как представляли себе этот двор тогда в Италии.

Итак, при том, что и в раннем средневековье «идея римской державы» могла быть сколь угодно общей и вездесущей, у нее все же была и некоторая локальная привязка. В самом деле, главная «дорога» к западноевропейской средневековой символике вела — напрямую или же через промежуточные станции — от главного же двора того времени — константинопольского. Суждение это только кажется самоочевидным и не заслуживающим специального обоснования. На самом деле в исследовательской практике оно отнюдь не получило до сих пор принципиального признания — и не удивительно. Ведь если развивать этот тезис систематически, то следствия, из него вытекающие, могут заставить пересмотреть едва ли не самые

основы давно сложившейся и столь нам привычной картины средневекового прошлого.

И все же, что может быть естественнее «центрального» положения Константинополя в «ареале» раннесредневековой политической символики, если принять во внимание то простое обстоятельство, что все основополагающие концепции христианского политического символизма были сформированы в «константиновой» Римской империи? К их числу относятся и многозначительные метафорические образы государя как Моисея, как Давида³¹ (образ отнюдь не изобретенный Карлом Великим) как Соломона, как апостола Павла³², как самого Христа³³, и во многом синонимичные друг другу образы дворца и христианского храма, и, наконец, образы «подданных» как членов совокупности общин — под одним углом зрения, церковных, а под другим — городских. (Характерно, но почему-то не замечено историками, что сельская община не получила, кажется, никакого места в символике власти).

Не будем забывать, что и само принятие христианства автоматически влекло за собой усвоение определенной «модели» христианского государя, а она была, естественно, выстроена по образцу благочестивого императора римлян. Таким образом, не позже той минуты, когда варварские государи принимали крест и вместе с ним возлагали на себя роль христианских правителей, они оказывались в сильной «символической зависимости» от Рима. (Впрочем, наверняка многие из них испытывали эту зависимость и существенно ранее).

* * *

Вводимое здесь понятие «символической зависимости» нуждается в некоторых пояснениях. Такая форма зависимости не связана напрямую с зависимостью политической, не говоря уже об экономической. Она не предполагает и, скажем, союзнических отношений между сторонами, ведь символические формы перенимают отнюдь не у одних только господ, друзей или союзников. (Вводный эпизод с офицерской формой это очень хорошо показывает). Нередко дело обстояло как раз наоборот: «особо ценные» символы заимствуются

как раз у актуальных антагонистов: злейших врагов, постоянных противников, явных или скрытых соперников.

Психологический механизм такого перенимания более или менее ясен. Во-первых, от антагониста нельзя отставать — в особенности в тех областях, что относятся к престижу власти вообще и достоинству ее носителя в частности. Во-вторых, узурпация важнейших черт символического облика контрагента вселяет надежду (иногда осознанную, но часто остающуюся на уровне подсознания) и на присвоение его удачи и успеха. В последнем отношении «символическое ограбление» противника (воспроизведение титула, формы короны, вида знамен, покроя воинских мундиров и проч.) не так далеко от ритуального каннибализма: ведь сердце или печень врага поедают, чтобы усвоить его силу, доблесть, удачу и всевозможные иные положительные качества...

Сильное и последовательное воздействие персидских образцов на «символический облик» римских императоров приходится, похоже, на столетия, когда скрытое или явное противостояние между Римом-Византией и Парфией-Ираном было фактором постоянным и нередко определявшим судьбы обеих держав. Несколько веков спустя решительная «византинизация» облика вестготской монархии произошла во время упорного противостояния наступающим византийским войскам и как раз вследствие борьбы с ними³⁴. Неприязненными отношениями с константинопольской властью легко объясняется и рецепция императорской символики у вандалов и лангобардов.

Упорная вражда не затрудняет, а облегчает рецепцию — по крайней мере некоторых символических форм, и притом нередко именно тех, которые контрагент рассматривает в качестве зарезервированных для выражения исключительно собственного престижа. Так, скажем, ни одному сколько-нибудь лояльному (пускай лишь формально) по отношению к Константинополю правителю не пришло бы в голову посягнуть на титул *Imperator Romanorum*. Зато открытые враги василевса, такие как болгарские цари и западные императоры, при соответствующих политических обстоятельствах вполне могли пойти на его узурпацию.

Примеры обратного движения — с периферии в центр — также можно привести, хотя они обычно носят, судя по всему, характер не систематических, а

единичных, спорадических заимствований, задаваемых теми или иными приступами встречающейся порой в любом обществе «моды на варварское». Когда в VII в. при византийском дворе входит в моду одно хазарское одеяние³⁵ или когда в XII в. Мануил Комнин проводит «рыцарский турнир» по образцу «франков», мы имеем дело с заимствованиями как раз такого рода. Чтобы начать оказывать сколько-нибудь постоянное воздействие на свой символический центр, та или иная периферия должна стать сначала для него серьезным противником, то есть, по сути дела перестать являться периферией.

Не так-то просто судить об успехе или неуспехе «символической узурпации» или же иных способов периферии воспринять символику власти, принятую в «символическом центре». Конечно, известны примеры, когда «периферии», развивающей формы, усвоенные ею из символического центра, удается не только догнать «центр», но даже превзойти его по выразительности: двор герцогов Бургундских блистал в XV в. ярче, чем двор французских королей, несмотря на то, что репрезентативная символика первого была почти наверняка в свое время заимствована у последнего³⁶.

Однако там, где культуры символических доноров (добровольных или вынужденных — неважно) и символических реципиентов (как действительных, так и потенциальных) решительно различались между собой, «буквальное цитирование» образцов оказывалось совершенно невозможным. Как, скажем, мог прижиться придворный церемониал византийского типа в таком политическом сообществе, где у правителей не было не только дворца, но и сколько-нибудь постоянной резиденции?

Впрочем, и «просто» технологический разрыв мог стать непреодолимым препятствием на пути восприятия символики «метрополии» ее «провинциями». Так, незаменимым средством воздействия на сознание подданных в позднем Риме и особенно Византии были торжественные мелодии переносных и стационарных органов, сопровождавшие явления государя (и некоторых других высших должностных лиц империи) в цирке, во дворце (самое позднее с VIII в.) и в процессии. На западе Европы считали, что строить органы могут только мастера-греки. Насколько справедливым было это суждение, сказать трудно, но оно хорошо отражает то обстоятельство, что на латинском Западе создавать такие сложные

технические устройства, как органы, до поры до времени попросту не умели³⁷. Когда в 757 г. Пипин Короткий получил орган в подарок из Константинополя, это стало сенсацией, отмеченной всеми анналами едва ли не как главное событие года³⁸.

Соорудить же орган впервые удалось «по греческому образцу» (*more Graecorum*³⁹) некоему священнику Георгию из Венеции в 826 г. при дворе Людовика Благочестивого, и современники успеха — Эмольд Нигелл и Валафрид Страбон в сходных выражениях прославляли это достижение чуть ли не как полную победу над высокомерными «пеласгами», т.е. греками — производителями символических образцов. Как писал Эмольд: «И даже орган, какового ранее никогда не создавали в державе франков, из-за обладания которым непомерно чванились гордые царства пеласгов, и лишь которым одним Константинополь думал превзойти тебя, цезарь, есть теперь во дворце в Ахене. Возможно в этом содержится указание им на то, что придется им склониться под ярмом франков, потому что у них отобрано важнейшее знамение славы»⁴⁰. Эти строки сочинены словно для того, чтобы прояснить исследователю и логику символического заимствования периферией символических форм из центра, и чувства, вызываемые таким заимствованием, и ожидания, с ним связанные.

Между прочим, «высокомерие» является, похоже, во всех эпохах характерной чертой «символического центра» в глазах тех, кто относится к «символической периферии». Упрек в высокомерии выражает ощущение тяготящей психологической зависимости — и именно так его стоит прочитывать не только у Эмольда Нигелла, но, скажем, и у Ноткера Заики или Лиутпранда Кремонского. Впрочем, можно найти примеры и посвежее — разве не является «высокомерие» признаком американцев или немцев в глазах, скажем поляков, и разве не «высокомерны» западные немцы в глазах немцев же, только из бывшей ГДР? Да и любой столичный житель «высокомерен» в глазах провинциала, если, конечно, не проявляет чудеса смирения. Здесь дело, видимо, в том, что оценочная система в сознании представителя «символического центра» выстроена на «исходных» образцах и эталонах, а потому он не может слишком уж высоко оценивать более или менее удачные «провинциальные» подражания этим образцам. В глазах посланца василевса ахенский дворец выглядит отнюдь не столь

блистательно, как в глазах франка, и именно потому приезжий грек неизбежно окажется «высокомерным» для франка.

В запасе у высокомерных «пеласгов» были еще более рафинированные, чем органы, технические устройства: заводные птицы, поющие в ветвях искусственного дерева⁴¹, или же «трон Соломона», не только опиравшийся на рычащих и бивших хвостами механических львов, но и поднимавший в нужный момент императора на немалую высоту, что, надо полагать, должно было потрясать до глубины души простодушных послов всевозможных варварских царьков⁴². Воспроизвести эти чудеса латинский Запад так и не смог, в отличие от другой «символической периферии» Константинополя — арабского Востока⁴³: в 917 г. во дворце Аббасидов в Багдаде уже «росло» механическое дерево⁴⁴.

Таким образом, некоторые, особенно сложные в техническом отношении, символические формы оказывались лучше защищены от возможности «узурпации» и потому могли действительно оставаться зарезервированы за их «изначальным» владельцем⁴⁵. Но именно поэтому они были обречены довольно скоро исчезнуть и из «политического обихода», и из истории. «Монополизированные символы» уходят вместе с владеющими ими «монополиями». Большое «общеевропейское будущее» ожидало только те символические формы, которые относительно легко могли быть переняты и воспроизведены: всевозможные жезлы, короны, одеяния и пр. Именно из таких «слов» (обычно полностью вырванных из смыслового контекста, в котором они существовали в своей римско-византийской метрополии) постепенно и сложилась немалая часть того «символического койне», на котором выражали свои властные амбиции «варварские» государи раннего средневековья от Пиренеев до Междуречья и от Северной Африки едва ли не до Волги.

* * *

Как долго Новый Рим оставался главным поставщиком символических форм в ойкумене, сказать, конечно же, трудно. Понятно, что самое позднее после Четвертого Крестового похода он сам довольно быстро превращается в символическую периферию эмансипировавшегося Запада — в конечном счете самой успешной из всех его бывших символических провинций. Включение

помазания в византийский церемониал коронации — вероятный результат западного влияния⁴⁶, как, скажем, и единственный, кажется, случай исполнения светским государем «службы конюшего» для высшего церковного иерарха⁴⁷. Несложно предположить, что и до 1204 г. условия восприятия «западной периферией» константинопольской символики не оставались неизменными: должны были меняться и интенсивность рецепции и характер воспринимаемых элементов. Некоторые совпадения политических обстоятельств (вроде брака Оттона II и Феофано) благоприятствовали заимствованиям, другие их затрудняли. Но пока Константинополь волей или неволей воспринимался на Западе в качестве символического образца (пускай даже наделенного отрицательными коннотациями), колебания политической конъюнктуры влияли на частности, а не на существо дела⁴⁸.

Так, допустим, Феофано могла подробно познакомить и венценосного (хотя диковатого) супруга, и своего царственного сына с церемониями, действительно имевшими место при византийском дворе. Полутора веками ранее Карл Великий и Лев III скорее всего не располагали таким же надежным источником сведений о сценариях императорских коронаций. Однако это не помешало им устроить такую церемонию — в соответствии со своим *представлением* о том, как ее должны проводить в «образцовом» Константинополе. Различие между обозначенными выше ситуациями рецепции при Карле Великом и при Оттоне II состоит тем самым лишь в том, что во втором случае «реципиенты» могли быть в большей степени информированы о символических формах у «доноров». Однако принципиальная установка на заимствование и воспроизведение этих — очевидно, весьма авторитетных, форм — в обоих случаях одна и та же.

Что с того, что византиец Феофан высмеял обряд коронации в Риме на Рождество 800 г., не захотев по очевидным причинам распознать под варварским обликом этой церемонии «свой» константинопольский обряд? На взгляд папы Льва III и новоиспеченного западного императора, они, очевидно, воспроизвели свой образец должным образом — или во всяком случае, так хорошо, как только можно было...

На латинском Западе византийские символические образцы воспринимались сначала на «ближайшей периферии», то есть, в Италии и в ряде соседних

средиземноморских областей. Оттуда византийские идеи в «местной» интерпретации передавались на более отдаленную периферию — за Альпы и со временем достигали (пусть в очень ослабленном и сильно переосмысленном виде) самого далекого в Европе и самого нескорого на рецепцию средиземноморских образцов — североморско-балтийского региона⁴⁹.

То, что это направление символической рецепции было постоянным на протяжении многих веков, показывает, в частности, восприятие на Западе архитектурных форм константинопольского храма св. Апостолов — второго по значению (хотя для многих, похоже, первого) храма константиново-юстиниановской империи. Ряд подражаний св. Апостолам в латинской Европе начинается еще в IV в. храмом св. Назария в Милане⁵⁰, продолжается в XI в. знаменитым Сан-Марко в Венеции и завершается только в XII в. собором св. Фронта в Перигё на юге Франции. Попытки ученых восстановить облик погибшего после турецкого завоевания храма св. Апостолов основываются на сопоставлении друг с другом не только немногочисленных письменных свидетельств, но и всех этих провинциальных вариаций в камне и кирпиче на одну и ту же тему, заданную в IV—VI вв. в Константинополе⁵¹.

Дело, впрочем, не ограничивается храмовой архитектурой. На протяжении последнего столетия историки из разных стран смогли собрать весьма большой и разнообразный материал о всесторонних византийских влияниях по всей ойкумене (в ее античных границах и даже еще шире). Особенно заметными они предстают как раз в сфере саморепрезентации государей, в символике власти. Инсигнии, грамоты, монеты, одеяния, украшения, резьба по кости, миниатюры, ткани⁵² демонстрируют зависимость от византийских образцов — пусть нередко и скрывааемых в академических описаниях этих памятников под размывающей суть дела характеристикой «позднеантичных».

Хотя Й. Деэр и критиковал резко П. Э. Шрамма за недооценку в его классических исследованиях византийского вклада в формирование западной символики власти, в действительности никто иной как П.Э.Шрамм показал византийские истоки многих из них. Однако общий подход П.Э. Шрамма к предмету его исследований основывался на посылке (недвусмысленно обозначенной в первой же его книге), что средиземноморский мир уже в самом

раннем средневековье распался на три отдельных и самостоятельных региона с центрами в Риме, Константинополе и Мекке⁵³. Конечно, П.Э. Шрамм не отрицает возможности плодотворного взаимовлияния между обозначаемыми таким образом тремя культурными зонами. Однако у него оно оказывается воздействием друг на друга принципиально *разных субъектов* — трактовка, доминирующая в историографии и сегодня. Разглядеть культурные «влияния» со стороны Константинополя в том или ином регионе или сфере жизни не составляет никакой психологической сложности для историка как на западе, так и на востоке современной Европы. Однако совсем иное дело признать такой уровень интенсивности, постоянства и широты этого воздействия Константинополя на соседей, при котором скромное слово «влияния» оказывается явно недостаточным, а приходится говорить скорее о *символическом доминировании*. Такой поворот требует серьезной перестройки сознания историка — как медиевиста, так, вероятно, и византиниста.

Между тем, изобилие собранного эмпирического материала уже давно требует новой манеры его осмысления и описания: не в рамках трех отдельных культурных регионов («с центрами в Риме, Константинополе и Мекке»), а в до поры до времени относительно едином «символическом пространстве», охватывающем все постримское Средиземноморье. Именно в этом пространстве из одного и того же материала — элементов императорской репрезентации — и идет постепенная кристаллизация новых, собственно средневековых символических систем.

Понятно, что господствующая идея трех почти независимых друг от друга регионов (из которых впоследствии должны развиваться три разные цивилизации) имеет, глядя и на нее саму под историческим углом зрения, глубокие еще донаучные корни: она должна была возникнуть в ходе полемики между христианством и исламом, с одной стороны, и между двумя старейшими христианскими конфессиями — с другой. Однако и сегодня в разных частях Европы встречаются коллеги, представляющие себе границу между сферами влияния Римской церкви и ее восточных оппонентов даже в раннем средневековье настолько взаимно изолирующей и непреодолимой, что железный занавес в XX в. состоял по сравнению с нею, должно быть, из одних дыр. Этот подход (который

можно назвать «изоляционистским») вообще-то не хуже любого другого — он приносил и приносит немало солидных научных результатов. Но лишь до того предела, пока его применение не начинает приводить к сомнительным выводам, причем даже не на уровне высоких (а потому и заведомо спорных) обобщений, а при разборе частных «конкретных» обстоятельств.

Характерный пример типичного для историографии (но, как представляется, устаревшего) изолирования истории Запада (если вообще справедливо говорить о «Западе» применительно к раннему средневековью⁵⁴) можно взять, скажем, из вообще-то исключительно информативного и полезного каталога недавней выставки в Падерборне, посвященной «юбилею» встречи Карла Великого и папы Льва III в 799 г. В одной из опубликованных в каталоге статей речь идет о распространении весьма эффектной, но в средние века ставшей очень редкой техники, использовавшейся в репрезентативных целях. Это монументальные надписи позолоченными медными буквами на важных общественных зданиях, прежде всего храмах. Автор констатирует, что последним памятником на «Западе», где такая техника была применена, оказалась триумфальная арка Константина в Риме⁵⁵. Вслед за тем нечто подобное можно обнаружить лишь в придворной капелле лангобардского князя Архиза II (758—787) в Сполето и на западном фасаде аббатской церкви в Корвее примерно сотней лет позже. Из сопоставления этих фактов делается вывод: единственным образцом для корвейских монахов могло быть Сполето, что следует понимать как надежное доказательство интенсивности контактов между лангобардским Беневентом и Саксонией в VIII—IX вв.⁵⁶.

Вполне возможно, что общение между Беневентским герцогством и Корвеей действительно было в то время весьма оживленным и плодотворным. Однако почему современный историк совсем не принимает к рассмотрению еще один географический пункт, в котором к VIII—IX вв. наверняка можно было увидеть немало надписей «золотыми» буквами? Разве Константинополь не является тем совершенно необходимым звеном, что связывает несколько столетий, разделяющих арку Константина в Риме и часовню в Сполето, и вместе с тем восстанавливает в сознании историка разорванную было цепочку преемственности? Именно туда отправился Константин, выстроив свою арку в

Риме, и именно оттуда князья лангобардов обычно заимствовали главные элементы своей репрезентации. (Достаточно вспомнить патроний сохранившейся и сегодня церкви при княжеской резиденции в Беневенте — св. София)⁵⁷.

О том, что блистательность императорской столицы должна была выражаться не в последнюю очередь блеском золота и его визуальных заменителей — прежде всего меди — известно слишком хорошо. Купола русских церквей и сегодня еще напоминают о традиции, восходящей к оформлению дворцов и святилищ как Второго Рима⁵⁸, так еще и Первого. (Мифологизированное и фольклоризированное ответвление той же традиции можно, вероятно, усмотреть и в «золотой избе», возведенной под Оренбургом для Емельяна Пугачева сиречь императора Петра III).

Стоит лишь учесть простой факт наличия «символической метрополии» на Геллеспонте, как те же самые археологические находки, что описаны в каталоге, могут получить совершенно иную, чем у автора статьи, интерпретацию: монахи-паломники из Корвейского монастыря могли посещать многочисленные и воистину первосортные святые реликвии Нового Иерусалима (каковой, как известно, был идентичен с Новым Римом⁵⁹). А в этом случае и Сполето и Корвея предстанут в качестве двух друг от друга независимых и, возможно, самых отдаленных от общего «центра» «реципиентов» тех символических форм, которые много столетий подряд продолжали практиковаться в «символической метрополии». Вряд ли предположение о возможности продуктивных контактов с Константинополем приносило бы Корвее в глазах историка меньше чести, нежели его гипотетические связи с Беневентом. Однако его исследовательская оптика (как, собственно, почти у всех нас) настроена таким образом, что не позволяет разглядеть определенные связи, протягивающиеся восточнее некоей произвольно определяемой границы «Запада». Примеры досадного (и, думается, анахронистического) редуционизма, к сожалению, многочисленны в нынешней ученой среде что на Востоке, что на Западе.

Редуционизм такого рода предоставляет сознанию историка безнадежно расколотый образ прошлого. Затем этот расколотый образ подвергается дальнейшему дроблению — в результате проецирования на раннее средневековые существующих ныне особенностей того или иного национального самовосприятия.

Ведь более или менее общие символические формы, унаследованные всей христианской Европой (а отчасти и мусульманским Востоком) от Римской империи или заимствованные у Византии, вызывают в целом куда меньший интерес, нежели их «квазинациональные» (то есть, как бы «собственные» с точки зрения современных наций-государств) вариации.

Не случайно при рассказе, скажем, о какой-нибудь вестготской церкви в Испании немецкий историк еще в первой половине XX в. считал нужным говорить не об отражении в данном здании общей идеи храма (более или менее единой по всему Средиземноморью), а о неброских резных украшениях стен. В их сплетающихся извилах он старался разглядеть узоры, которыми далекие предки вестготов якобы некогда украшали свою сугубо гипотетическую «деревянную архитектуру» на далекой исторической родине — в первобытных лесах Германии⁶⁰. (Я не ставлю здесь под сомнение необходимость изучать храмовый декор даже под таким углом зрения, но всего лишь пытаюсь проиллюстрировать систему предпочтений, определяющую выбор историком объекта своего интереса и подход к нему).

Если немецкие историки сегодня уже не слишком увлекаются разысканием в раннесредневековых древностях живых ключей германского начала, то их французские коллеги с иным историческим опытом за плечами по-прежнему очень любят подчеркивать «кельтские» корни «своего» средневековья. Даже болгары, чья ранняя история и культура кажется вообще неотделимой от истории и культуры Византии, как уже говорилось, не раз пытались найти параллели дворцам в Плиске и Преславе не в нескольких десятках километров южнее от их нынешних границ, а в далекой Средней Азии, откуда протоболгары и должны были в кочевых кибитках привезти свои архитектурные замыслы.

В русской традиции принято, естественно, разыскивать всюду в прошлом следы положительного вклада восточного славянства. Там, где это особенно трудно сделать (как, скажем, в так называемую эпоху Великого переселения народов), русские историки обычно вставляли на «защиту интересов» кочевых народов степи, переносивших те или иные культурные инновации (например, «звериный стиль») от отрогов Алтая до сердца Европы⁶¹.

Между тем, и в Киевской Руси вероятно можно при некоторых усилиях найти немало провинциально трактуемых черт постримской общесредиземноморской символической системы — от червленых сапожек и красных шапок князей — до, возможно, именованя городов⁶². В самом деле, не прибегали ли русские князья XI—XII вв., давая вновь основываемым ими городам — Владимиру, Ярославлю, Юрьеву — свои собственные (отчасти еще даже не христианские) имена, к тем же самым средствам собственной легитимации, что и, например, король вандалов Хунирик за пять—шесть сотен лет до этого? Если да, то средства эти в конечном счете заимствовались из «символического арсенала» римских императоров.

* * *

Предлагаемый подход к описанию раннесредневековой символики власти с использованием понятий «символический центр» и «символическая периферия» представляет собой всего лишь некоторое смещение привычных акцентов, которое давно уже назрело вследствие быстрого накопления за XX век новых и разнообразных данных о воздействии Византии на соседей. Однако такой перенос акцентов позволяет, как представляется, сделать нашу картину раннесредневекового прошлого более систематической, что обещает некоторые методические преимущества на будущее.

Во-первых, правила, действующие как в политике, так и в символике на одной из периферий, могут предстать совершенно в новом свете, как только они будут рассмотрены в качестве частного случая неких более общих норм. Так, скажем, широко практиковавшиеся на раннесредневековом западе «праздничные коронации» уже коронованных государей или же их «шествования под короной»⁶³ теряют всякую экзотичность, если увидеть в них периферийные вариации сходных установлений при императорском дворе в Константинополе.

Возможно, нечто сходное удастся показать и в отношении особой формы проскинезиса, практиковавшейся задолго до начала «борьбы за инвеституру»: этот жест смирения государя перед епископами оказывался, например, при Генрихе II последним аргументом правителя, приводившего епископов к послушанию даже в

тех случаях, когда не помогали никакие иные средства⁶⁴. А то, что церкви, строившиеся для погребения варварских королей на Западе Европы, прямо или опосредованно восходили (не формами, а функциями) к тому же храму св. Апостолов, в котором до 1028 г. погребали василевсов, было продемонстрировано в одном весьма детальном исследовании⁶⁵.

Кстати, в куда более широкий, чем ныне, контекст, удастся, пожалуй, вписать не только те символические формы, что относятся к возвеличиванию государя, но и те, что должны унижить его противников. Так, всюду, где практикуется ослепление политических врагов (а принято оно от державы франков на западе до Руси на востоке) или же (приведу более экзотический пример) преступника лишают чести, провозя его по улицам голым усаженным на осле задом наперед (как в Италии), можно усматривать символическую провинцию Константинополя⁶⁶.

Во-вторых, идея символического центра и символической периферии (или символических периферий) может быть полезна для восстановления утраченных культурных образцов путем сопоставления между собой их сохранившихся «провинциальных» интерпретаций — подобно тому, как это делается в отношении храма св. Апостолов. В качестве примера — маленькая, но очень конкретная деталь. Покидая главный пиршественный зал («19 лож») Большого дворца, император при выходе замирал между двумя порфировыми колоннами, и стоя между ними, как в раме на картине, выслушивал прощальные аккламации пирующих. Папа Лев III повелел пристроить к Латеранскому дворцу триклиний, представляющий, по мнению историков архитектуры, не что иное как подражание константинопольскому «залу 19 лож». У входа в триклиний стоят как раз такие колонны, какие нужно, но перед ними на полу выложен порфировый круг — так называемая «рота». В византийской традиции «ротами» отмечалось места, на которых стоял император⁶⁷. Отсюда вытекает, что такая же рота должна была находиться и у дверей главного зала «19 лож» Большого Дворца, хотя ни один источник о ней и не сообщает⁶⁸.

В-третьих, предлагаемый подход в принципе позволяет сравнивать друг с другом различные и весьма далекие (как географически, так и хронологически) друг от друга периферии — лишь бы они в свое время тяготели к одному и тому же

«символическому центру». Так, скажем, при обсуждении вопроса о смысле изображения «всадник, поражающий змея» в московском княжестве конца XV—XVI вв. вполне позволительно (и даже желательно) привлекать сходные композиции скажем, из вестготской Испании. Ведь несмотря на очень большое удаление друг от друга как в пространстве, так и во времени, ездоцы» не были «изобретены» независимо друг от друга вестготами и русскими, а восприняты из одного и того же символического центра — то есть, из официальной «государственной» византийской иконографии, где такой всадник служил передаче образа императорской власти⁶⁹.

Главный недостаток предлагаемого подхода такой же, как и у всех остальных — его опасно абсолютизировать. Разумеется, в параметрах «символического центра» и «символической периферии» нельзя описать бесконечного многообразия отношений, возникающих по поводу символического. Эти параметры задают лишь довольно грубую схему, определяют самый общий взгляд на предмет. При более детальном рассмотрении конкретных сюжетов в данную концепцию неизбежно потребуется вносить немало тех или иных поправок, а порой и вовсе заменять ее на другие объяснительные конструкции. С одной стороны, есть, вероятно, элементы символики, которые не заимствуются из тех или иных «центров», а самостоятельно «изобретаются» на месте. С другой же, бывают и такие формы, что в равной мере присущи самым разным и заведомо не связанным друг с другом культурам, поскольку они, очевидно, имеют отношение к глубинным пластам человеческого сознания. (Например, едва ли не повсеместно пространство ритуального действия принято организовывать таким образом, чтобы правителю отводилось место выше его подданных, — и это, надо полагать, отражает укорененную на антропологическом уровне ценностную иерархию между «верхом» и «низом»).

Предлагаемая схема удобна для описания только одной из многих действующих одновременно (притом порой в противоположных направлениях) тенденций в мире символического. Однако тенденция эта представляется весьма существенной и прослеживание ее даст, по меньшей мере некоторые критерии и ориентиры для оценки всех иных возможных процессов в символике власти.

Может быть, самое интересное состоит всякий раз в рассмотрении того, как именно каждая из «символических провинций» интерпретирует образец, воспринятый из «символической метрополии», а делают они это всегда на свой, вполне индивидуальный, лад. Из таких интерпретаций нередко то быстрее то медленнее начинают развиваться собственные символические традиции, которые порой могут уводить весьма далеко от исходного образца.

Вернемся к симметричным конхам дворцовой залы ахенского пфальца. Основным образцом для них послужил, скорее всего, тот самый латеранский триклиний Льва III, что воспроизводил в уменьшенном виде константинопольский образец. Радиус конх как в Константинополе, так и в Латеране можно считать одинаковым, поскольку эти ниши в стенах были не случайными, а предназначались для вполне определенных практических целей и подчинялись действовавшему «стандарту». В каждом из таких углублений устанавливали полукруглый (сигмавидный) стол, за которым во время торжественных пиров могло разместиться двенадцать человек⁷⁰ (число, естественно, далеко не случайное) — обычно сидя, но в отдельных случаях и по античному образцу, полулежа.

Архитектор, возводивший ахенский дворец, то ли не понял практической функции конх в «образцовых» для него зданиях, то ли, что вероятнее, решил в своей постройке придать им совершенно новый смысл. Он сделал их ровно в два раза шире, чем в Константинополе и Риме — вряд ли только для того, чтобы в каждой из них можно было усадить сразу в два раза больше народу, чем в «классическом» варианте. Скорее он интерпретировал эту архитектурную деталь в качестве не «прагматической», а «репрезентативной», добавляющей престижа хозяину дворца и подчеркнул ее с целью яснее выразить средствами искусства политические претензии франкских государей.

Не менее поучительный казус представляет собой дворец лангобардских королей в Монце, нередко трактуемый как провинциальное подражание Хебдомонскому дворцу неподалеку от Константинополя⁷¹. Благодаря описанию Павла Дьякона мы знаем кое-что о его обстановке: в частности, о парадной зале, на стенах которой мозаики или фрески живописали «деяния лангобардов» (*Langobardorum gestis*), совершенные ими под водительством давних королей — предшественников нынешнего государя. Павел Дьякон подробно описывает

характерные «племенные» прически тех исторический правителей: лангобарды брили себе затылки и шеи, а остальные волосы делили пробором посреди лба и позволяли им расти вдоль щек сколь угодно далеко⁷².

Не приходится долго гадать, на какие образцы ориентировался создатель этой галереи героических лангобардских королей. Ясно, что здесь мы имеем дело с подражанием оформлению императорских дворцов. В связи с Монцей никто из историков или искусствоведов еще не обращал внимания на одно место у Феофилакта Симокатты, жившего примерно на век раньше Павла Дьякона. Автор описывает парадное помещение, в котором устраивал прием по случаю своего венчания император Маврикий: «Зала была великолепно убрана кругом по стенам нишами с изображениями прежних великих государей, украшенными золотом и драгоценными камнями»⁷³. Очевидно, «художественная программа» здесь та же самая, что и в Монце, вот только «прежние великие государи» представлены в данном случае, надо полагать, скорее в виде скульптур, чем плоскостных изображений.

Несмотря на органическую связь между «донорским» образцом» и воспроизведением его у «реципиента», византийский придворный, оказавшись он в Монце, скорее всего, с трудом сдержал бы гомерический хохот. Сочетание римских репрезентативных техник с откровенно неримскими варварскими прическами прославляемых при помощи этих техник исторических персонажей должно было создавать исключительно комический эффект. Но лангобарды — что заказчики и исполнители, что описывающий их совместное творение Павел Диакон — комизма этого несоответствия не замечали. С их точки зрения, надо полагать, дворец в Монце представлял собой не отрицание или выворачивание наизнанку исходного символического образца, а как раз идеальное его приспособление для репрезентативных потребностей славных потомков Ротари и Лиутпранда.

То, что у византийца вызвало бы только смех, у лангобардов могло со временем положить начало вполне самостоятельным иконографическим, репрезентативным и символическим традициям. Любая рецепция показательна, потому что она выявляет источники авторитета и векторы доминирования. Но результаты всякой рецепции предсказать сложно: за уподоблением по внешности едва ли не всегда скрывается то или иное (порой принципиальное) отличие в

содержании. Потому-то трудно сейчас предсказать, как будет впредь меняться форма офицеров — хранителей ядерного чемоданчика, да что станется и с самим чемоданчиком, возведенным в ранг главной инсигнии мировых властителей.

Впрочем, интереснее, пожалуй, проследить за тем, как пойдет развитие некоторых других заимствованных извне деталей антуража власти, без которых помыслить ее в нынешнем мире столь же трудно, как без короны, скипетра и державы в мире средневековом. Ведь на бескрайних просторах Восточной Европы и СНГ конституции, парламенты, выборы, политические партии и проч. представляют собой институты, несущие едва ли не больше символической, нежели прагматической нагрузки. В самом деле, когда какой-нибудь весьма далекий от либерализма центральноазиатский режим содержит ручной парламент с карманными «оппозиционными партиями», такие парламент и партии служат не выражению и согласованию различных социальных интересов, а целям сугубо репрезентативным. Власть, не украшенная «демократическими инсигниями», не легитимированная выборами и референдумами (пускай сугубо формальными) выглядит сегодня столь же неубедительно, как государь раннего средневековья без багряной хламиды на плечах.

Тут самое время вспомнить, что в те далекие века достать подлинного «императорского» пурпура из финикийского Тира было крайне сложно, отчего постоянно приходилось прибегать к заменителям — тем, что оказывались под рукой. В результате хламиды окрашивались в столь разные оттенки — от ярко алого до темно фиолетового, — что нынешним историкам уже совсем непросто определить, какого же цвета, собственно, был тот «образцовый» пурпур, воспроизвести который все вроде бы так рьяно стремились.

Статья подготовлена при поддержке Фонда им. Александра фон Гумбольдта

¹ См. Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 1996 года № 1138 «Об официальных символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь избранного Президента Российской Федерации».

² Описание см. в: Указ Президента Российской Федерации от 27 июля 1999 года № 906 «Об утверждении описания символа президентской власти — Знака Президента Российской Федерации».

³ Сходное объяснение присутствует и в мемуарах А.В. Коржакова: «Когда Грачев поменял форму в армии, мы выбрали для этих военнослужащих обмундирование морского офицера-подводника. Они стали выглядеть стильно в строгой черной форме и сразу выделялись среди других военных». — *Коржаков А.В.* Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. С. 131—132.

⁴ Хотя, например, ракеты, также являющиеся «всего лишь» техническими устройствами, стали в советской культуре одним из важнейших и бесконечно тиражируемых ее символов.

⁵ *Коржаков А.В.* Ук. соч. С. 131.

⁶ *Alföldi A.* Die monarchische Repräsentation im römischen Kaiserreiche. Darmstadt, 1970.

⁷ «Vermerck ain ordnung des setzens zu Hoff, so yederman zu Hoff yst, wie das zu ander fursten Hofen gehalten werdet». — *Tiroler Landesarchiv Innsbruck. Cod. 208. Fol. 23.* Подробнее и об этом документе и о ему подобных, как и об организации тирольского двора см.: *Bojcov M.A.* Sitten und Verhaltensnormen am Innsbrucker Hof im 15. Jahrhundert im Spiegel der Hofordnungen // Höfe und Hofordnungen 1200—1600. 5. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften in Göttingen / Hg. von Holger Kruse und Werner Paravicini. Sigmaringen, 1999. (Residenzenforschungen, 10) S. 243—283.

⁸ Это тема предполагаемой отдельной публикации.

⁹ Число таких мелких символических «семейств» не поддается подсчету. Огромное количество тех или иных символических приемов, выработанных в локальных центрах, получали тот или иной ареал распространения. Многие из таких ареалов несложно представить на карте. Так, скажем, неплохо документируется «зона влияния» характерного (объединяющего куб с полусферой) вида капителей, изобретенного, как считается, на рубеже X и XI в. при епископе Бернварде в Хильдесхайме. Примеры такого рода можно приводить сотнями. Однако нас здесь должны интересовать не «узкоспециализированные» центры, а те, что оказывали более или менее разностороннее «символическое влияние» в течение более или менее продолжительного времени.

¹⁰ Об этом см. прежде всего: *Schramm P.E.* Sacerdotium und Regnum im Austausch ihrer Vorrechte // *Studi Gregoriani.* 1947. T. 2. P. 403—457. Дополнительно приведу пример, кажется, не замеченный П.Э. Шраммом: в начале XIII в. (вероятно, при Иннокентии III) появляется знамя Римской Церкви, почти идентичное знамени Римской империи: на красном фоне белый крест, концы которого доходят до самых краев полотнища. Единственное отличие знамени Церкви состояло в том, что на нем были изображены еще и ключи (*Erdmann C.* Das Wappen und die Fahne der Römischen Kirche // *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken.* 1930/1931. Bd. 22. S. 227—255, здесь S. 229—231).

¹¹ *Godlewski W.* The Throne Hall in Old Dongola (Sudan) // *Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik.* 1982. Jg. 32/4. P. 569—574. Из этой работы здесь заимствованы рисунки 2 и 3.

¹² Новейшее краткое введение в проблематику этих болгарских памятников с указанием литературы: *Tschilingirov A.* Pliska // *Enciclopedia dell'arte medievale.* Roma, 1998. Vol. 9. P. 578—580; *Idem.* Preslav // *Ibidem.* P. 738—741.

¹³ *Godlewski W.* Op. cit. P. 573—574.

¹⁴ Краткое описание см в: *Janin R.* Constantinople Byzantine. Développement urbain et répertoire topographique. P., 1964 (Archives de l'Orient chrétien, 4A). P. 117—118.

¹⁵ Свод сохранившихся сведений о ней см. в: *Miranda S.* Les palais des empereurs Byzantine. Mexico, 1966. P. 39—42.

¹⁶ См. прежде всего работу об этапах возведения «образцового» дворца на Палатине: *Royo M.* Domus Imperatoriae. Roma, 1999 (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 330). Специально о залах для торжественных приемов см.: *Gabelmann H.* Antike Audienz- und Tribunalszenen. Darmstadt, 1984. О стилях императорских резиденций (прежде всего за пределами Рима) см. в первую очередь емкий обзор: *Castritius H.* Palatium. Vom Haus des Augustus auf dem Palatinum zum Aufenthaltsort des römischen Kaisers // *Die Pfalz. Probleme einer Begriffsgeschichte vom Kaiserpalast auf dem Palatin bis zum heutigen Regierungsbezirk* / Hg. von F. Staub. Speyer, 1990. S. 9—47.

¹⁷ Например, преемник Алариха король Атаульф на своей свадьбе с Галлой Платидией в Нарбонне (414 г.) — *Orosius VII,* 43.

¹⁸ Это особенно показательно, потому что двор Аттилы, если верить описанию Плиски, был устроен явно на иных символических основаниях, чем римский императорский двор. «Символическая инакость» двора Аттилы по-своему показательна: не восприняв в должной степени римских форм репрезентации, гунны оказались не в состоянии и господствовать над римским населением. В этом отношении «символическая политика» германских вождей была куда более перспективной.

¹⁹ *Deér J.* Byzanz und die Herrschaftszeichen des Abendlandes // *Deér J.* Byzanz und das abendländische Herrschertum / Hg. von Peter Classen. Sigmaringen, 1977 (Vorträge und Forschungen, 21). S. 42—69, здесь S. 46; *McCormick M.* Clovis at Tour. Byzantine Public Ritual and the Origins of Medieval Ruler Symbolism // *Das Reich und die Barbaren* / Hg. von E.K. Chrysos, A. Schwarz. Wien; Köln, 1989 (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 29). P. 155—180.

²⁰ Такие занавесы — *vela* — хорошо видны на изображении дворца Теодориха на знаменитой равеннской мозаике (дискуссионный вопрос об условности или точности передачи облика дворца здесь затрагиваться не будет, тем более, что занавесы тут явно показаны не ради точности передачи интерьера). Однако самое

интересное свидетельство обнаруживается у Сидония Аполлинария: описывая обличие вестготского короля Теодориха II (453—466), он указывает на использование тем занавеса, отгораживающего его от собравшихся. — Ер. I, 2, 4—6.

²¹ *McCormick M.* *Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Early Medieval West.* Cambridge; P., 1987. P. 262 со ссылкой на: *Notitia prouinciarum et ciuitatum Africae // Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum / Ed. M. Petscheinig, Wien, 1881. T. 7. P. 127. Nr. 107.* О том же эпизоде говорится в: *Bornwell P.S.* *Emperor, Prefects & Kings. The Roman West 395—565. L., 1992. P. 118* со ссылкой на *Courtois C.* *Les vandales et l'Afrique. P., 1955. P. 243.*

²² Павел Дьякон. IV, 30: «Igitur sequenti estate mense iulio levatus est Adaloaldus rex super Langobardos apud Mediolanum in circo, in praesentia patris sui Agilulfi regis, adstantibus legatis Teudeperti regis Francorum, et dispensata est eidem regio puero filia regis Teudeperti, et firmata est pax perpetua cum Francis».

²³ «Среди каннифатов большой известностью пользовался человек по имени Бриннон... Его отец много раз восставал против римлян... Слава, окружавшая эту мятежную семью, привлекла к Бриннону симпатии соплеменников. Каннифаты поставили его на большой щит и подняли на плечи; он стоял, слегка покачиваясь, высоко над головами людей; это значило, что Бриннона выбрали вождем племени». — *Тацит.* История. IV. 15. (Перевод Г.С. Кнабе дается по изданию: *Корнелий Тацит.* Сочинения в двух томах. Т.2. М., 1993. С. 147)

²⁴ *Аммиан Марцеллин* XX, 4: «Его поставили на щит из тех, которые носят пехотинцы, и подняли высоко». (Перевод Ю.А. Кулаковского и А.И. Сонни приводится по изданию: *Аммиан Марцеллин.* Римская история. СПб., 1996. С. 194).

²⁵ Г.А. Острогорский справедливо отмечает, что поднятие на щит исчезло из коронационной практики в Византии после VI в., когда обычные коронации стали проходить в столице, а не в военном лагере (*Ostrogorsky G.* *Zur Kaisersalbung und Schilderhebung im spätbyzantinischen Krönungszeremonien // Ostrogorsky G. Zur byzantinischen Geschichte. Darmstadt, 1973. S. 142—152; Острогорский Г.А.* Эволюция византийского обряда коронаования // *Византия, южные славяне и Древняя Русь, Западная Европа: искусство и культура. М., 1973. С. 33—42.* Однако он, кажется, недооценивает того, что в сознании византийцев по-видимому на протяжении всего средневековья продолжало существовать прочно укорененное представление о подъеме на щит как легитимном способе инаугурации государя на тот случай, если его придется провозглашать войску в условиях военного похода. Оно прекрасно выразилось в многочисленных миниатюрах — не только в известном мадридском кодексе Скилицы (см. о нем прежде всего: *Grabar A.* *Les illustrations de la Chronique de Jean Skylitzès a la Bibliothèque Nationale de Madrid // Cahiers archéologiques. 1971. 22. P. 191—211; Ševčenko I.* *The Madrid Manuscript of the Chronicle Skylitzes in the Light of Its New Dating // Byzanz und der Westen. Studien zur Kunst des europäischen Mittelalters / Hg. von I. Hutter. Wien, 1984. S. 117—130.*), но и к другим хроникам, а также к Священному писанию. Об этой иконографии см.: *Walter Ch.* *Raising on a Shield in Byzantine Iconography // Walter Ch. Studies in Byzantine Iconography. L., 1977. N. 12. P. 133—175; Mantas A.G.* *Die Schilderhebung in Byzanz — historische und ikonographische Bemerkungen // Byzantina. 2000. Bd. 21. S. 537—582.* Автор последней работы склоняется, похоже, к мнению, что иконографические топосы жили отдельной жизнью и никак не были связаны с действительностью. Мне такой разрыв в сознании византийцев (на только иллюминаторов, но и тех, кто рассматривал их многочисленные работы) представляется крайне маловероятным. При соответствующих условиях «топос» легко становился «действительностью» — когда взбунтовавшиеся войска провозглашали очередного узурпатора и поднимали на щит не только Фоку в 602 г. (о чем Острогорский упоминает), но и Никифора II Фоку в 963 г. и Льва Торника в 1047 г. (*Михаил Пселл.* Хронография. М., 1978. С. 100). Соответственно, нет ничего странного, если и хазары, и болгары перенимали у византийцев именно их «военную инаугурацию», так сказать, альтернативную «нормальной», проводимой в столичном дворце.

²⁶ *Seeliger G.* *Schilderhebung // Reallexikon der germanischen Altertumskunde Bd. 4. Straßburg, 1918/1919. S. 127.*

²⁷ *Deér J.* *Op. cit.*

²⁸ Характерно, что эту, вроде бы самоочевидную трактовку выражения «superhumeralem, videlicet lorum, qui imperialem circumdare adsolet collum» Й.Деэру пришлось обосновывать в полемике с П.Э. Шраммом, старавшегося как раз в вопросе об использовании лора уменьшить степень зависимости «западных» государей от Константинополя (*Deér J.* *Op. cit. S. 45.*) Однако в конце концов даже П.Э.Шрамму пришлось признать, что это константинопольский двор задавал масштабы в деле репрезентации власти в глазах составителя Константинова Дара (*Schramm P.E.* *Kaiser, Rom und Renovatio. Darmstadt, 1992. S. 27—28.*)

²⁹ «...clamidem purpuream atque tunicam coccineam et omnia imperialia indumenta seu et dignitatem imperialium praesidentium equitum, conferentes etiam et imperialia scepra simulque et conta atque signa, banda etiam et diversa ornamenta imperialia et omnem processionem imperialis culminis et gloriam potestatis nostrae». — *Constitutum Constantini, 14.*

³⁰ «Viris enim reverentissimis, clericis diversis ordinibus eidem sacrosanctae Romanas ecclesiae servientibus illud culmen, singularitatem, potentiam et praecellentiam habere sancimus, cuius amplissimus noster senatus videtur gloria adornari, id est patricios atque consules effici, nec non et ceteris dignitatibus imperialibus eos promulgantes decorari; et sicut imperialis militia, ita et clerum sacrosanctae Romanae ecclesiae ornari decernimus; et

quemadmodum imperialis potentia officiis diversis, cubiculariorum nempe et ostiariorum atque omnium excubiorum ornatu decoratur, ita et sanctam Romanam ecclesiam decorari volumus; et ut amplissime pontificalis decus praefulgeat, decernimus et hoc, ut clerici eiusdem sanctae Romanae ecclesiae mappulis ex lintheaminibus, id est candidissimo colore, eorum decorari equos et ita equitari, et sicut noster senatus calciamenta uti cum udonibus, id est candido lintheamine illustrari: ut sicut caelestia ita et terrena ad laudem dei decorentur». — Ibidem.

³¹ См, например: *Maguire H.* The Art of Comparing in Byzantium // *Art Bulletin.* 1988. Vol. 70. P. 88—103.

³² «Равноапостольность» Константина Великого подразумевала его уподобление прежде всего апостолу Павлу. Сходство определялось не столько тем, что Константин, как и Павел, «крестил народы», сколько в первую очередь историей обращения из гонителя христиан в адепта новой веры. Кроме того, Константину, как и апостолу Павлу, были откровения, а значит, он обладал даром общения с Богом без посредников. Последнее положение сыграло важную роль для формирования византийской концепции соотношения императорской власти и власти церковной. Нет ничего удивительного в том, что модель уподобления Константина Павлу воспроизводилась по этому образцу и применительно к другим правителям. См.: *Назаренко А.В.* Владимир — второй Павел? Следы древнейшей русской агиографической традиции о св. Владимире в латинских памятниках первой трети XI века // *Назаренко А.В.* Древняя Русь на международных путях. М., 2001. С. 435—450.

³³ См, например: *Ewig E.* Das Bild Constantins des Großen in den ersten Jahrhunderten des abendländischen Mittelalters // *Das byzantinische Herrscherbild / Hg. von Herbert Hunger.* Darmstadt, 1975 (Wege der Forschung, 341), S. 133—192 (перепечатано из: *Historisches Jahrbuch.* 1956. Bd. 75. S. 1—46). Литература о характеристиках образа императора в византийской культуре необозрима. Классическим остается труд, вышедший еще в 1938 г.: *Treitinger O.* Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell. Darmstadt, 1956. Из новых публикаций см. прежде всего: *Dagron G.* Empereur et prêtre. Étude sur le „césaropapisme“ byzantin. P., 1996.

³⁴ *Stroheker K.-F.* Das spanische Westgotenreich und Byzanz // *Bonner Jahrbücher.* 1963. Bd. 163. S. 252—274, особенно S. 267.

³⁵ Имеется в виду цикакий, закрепившийся при константинопольском дворе после женитьбы императора Константина V на дочери хазарского хана по имени Чичек (цветок) (*Constantin VII Porphyrogénète.* Le Livre des Cérémonies / Ed. A. Vogt. P., 1967. T. 1. Commentaire. P. 69).

³⁶ Впрочем, в литературе высказывались и другие мнения, например, что Бургундский двор перенял формы репрезентации не из Парижа, а с Майорки: *Kerscher G.* Das mallorquinische Zeremoniell am päpstlichen Hof: *Comederunt cum Papa rex maioricarum...* // Hrg. von J.J.Berns und Th.Rahn. Tübingen, 1995. S. 125—149.

³⁷ Об истории органа см.: *Perro J.* L'orgue de ses origins hellénistiques à la fin du XIIIe siècle. P., 1965; *Schuberth D.* Kaiserliche Liturgie. Die Einbeziehung von Musikinstrumenten, insbesondere der Orgel, in den frühmittelalterlichen Gottesdienst (Veröffentlichungen der Evangelischen Gesellschaft für Liturgieforschung, 17). Göttingen, 1968; *Hammerstein R.* Macht und Klang. Tönende Automaten als Realität und Fiktion in der alten und mittelalterlichen Welt. Bern, 1986. Для наших целей особенно полезен: *Maliaras N.* Die Orgel im byzantinischen Hofzeremoniell des 9. und des 10. Jahrhunderts. München, 1991.

³⁸ *Maliaras N.* Op. cit.. S. 171—173. С.Жак остроумно предположила, что император послал орган Пипину как высокому имперскому сановнику — «патрикию римлян». Звуками органа следовало сопроводить славословия патрикию (за которыми согласно церемониалу должны были следовать и славословия императору). Получается, во-первых, что император санкционировал получение Пипином титула «патрикия», которым его (вроде бы самовольно) наградил папа, а во-вторых, своим подарком подчеркивал подчиненное положение франкского короля по отношению к империи (*Žak S.* „Imitatio“ vorbildlicher Höfe bei der zeremoniellen Hofmusik in Spätantike und Frühmittelalter // *Feste und Feiern im Mittelalter.* Paderborner Symposion des Mediävistenverbandes / Hg. von D.Altenburg, J.Jarnut und H.-H.Steinhoff. Sigmaringen, 1991. S. 481—487). Об очень неясной истории получения Пипином титула «патрикия римлян» см. прежде всего: *Classen P.* Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Die Begründung des karolingischen Kaisertums. Sigmaringen, 1988 (Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, 9).

³⁹ «Interea... adduxit Baldricus domno imperatori presbyterum quendam Georgium nomine, bone vite hominem, que se promitteret organum more posse componere Grecorum». — *Astronumus.* Vita Hludowici imperatoris // *Theganus.* Gesta Hludowici imperatoris; *Astronumus.* Vita Hludowici imperatoris (MGH, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi, 64). Hannover, 1995. P. 432 (с. 40).

⁴⁰ *Ermoldus Nigellus.* In honorem Hludowici Christianissimi Caesaris Augusti // MGH PP T. 2. P. 1—91 (стихи 2520—2525): «Organa quin etiam, quae numquam Francia crevit, / unde Pelasga tument regna superba nimis, / et quis te solis, Caesar, superasse putabat / Constantinopolis, nunc Aquis aula tenet. / Fors erit indicium, quod Francis colla remittant, / Cum sibi praecipuum tollitur inde decus». Сравни: *Maliaras N.* Op. cit. S. 176—177 с указанием литературы, относящейся к этому эпизоду.

⁴¹ Его изготовление относится, согласно автору X в. Псевдо-Симеону Магистру, ко времени царствования императора Феофила (829—842). Возможно, тогда же был изготовлен и «механический» трон (*Maliaras N.* Op. cit. S. 137, 168). Несмотря на разрушение механизмов при сыне Феофила Михаиле III, вскоре они были восстановлены — самое позднее при Льве VI (886—812) — и перемещены из Христотриклиния в Магнавру (Ibidem. S. 160, 162). Однако сходные механизмы были известны и раньше — более того, судя по одному

месту из *Variarum* Кассиодора (L, I, cap. 45), они уже во времена Теодориха (а значит, и намного ранее) использовались для оформления придворного быта.

⁴² Описание есть не только у Лиутпранда Кремонского (*Antapodosis*, VI, 5.), но и в «Книге церемоний» Константина Багрянородного (II, 15). Текст см. в: *Constantini Porphyrogeniti imperatoris. De ceremoniis aulae Byzantinae libri duo* / Ed. J.J. Reiske. Bonnae, 1829. Vol. 1. P. 567–569.

⁴³ Арабы многое перенимают в символике власти из Византии: в фасаде Дамасской мечети видно подражание фасаду Халки — здания, оформлявшего вход в комплекс Большого дворца в Константинополе. См. указание на соответствующую литературу, например, в: *Deichmann F.W. Ravenna — Hauptstadt des spätantiken Abendlandes*. Wiesbaden, 1974. Bd. 2. Kommentar. Teil 1. S. 144. Впрочем, Омейяды подражали Халке при строительстве не только мечетей, но и своих дворцов (см.: *Restle M., Hellenkemper Salies G. Konstantinopel // Reallexikon zur Byzantinischen Kunst*. Stuttgart, 1990. Bd. 4. S. 400). Воспроизводя Халку в качестве своего образца, Омейяды поступали точно так же, как остгот Теодорих в начале VI в., возводивший свой дворец в Равенне, и как папа Захарий, достраивавший в середине VIII в. Латеран (о такой оценке творчества последнего см.: *Ward Perkins B. From Classical Antiquity to the Middle Ages: Urban Public Buildings in Northern and Central Italy AD 300—850*. Oxford, 1984. P. 175 со ссылкой на: *Krautheimer P. Rome. Profile of a City 312—1308*. Princeton, 1980. То же в: *Mitchell J. Karl der Große, Rom und das Vermächtnis der Langobarden // 799 — Kunst und Kultur der Karolingerzeit: Karl der Große und Papst Leo III. in Paderborn. Beiträge zur Katalog der Ausstellung Paderborn 1999* / Hg. von Christoph Stiegemann und Matthias Wemhoff. Mainz, 1999. S. 95—108, здесь S. 102). Возвращаясь к арабам, отметим, что Константинополь производил на них даже в IX—X вв. сильное впечатление именно в символическом плане — как модель упорядоченного, хорошо организованного города, в котором каждое здание, каждый монумент и каждое обыкновение ясно демонстрирует власть правителя. См.: *Shepard J. Byzantine Diplomacy, A.D. 800—1204: Means and Ends // Byzantine Diplomacy* / Ed. by Jonathan Shepard and Simon Franklin. Aldershot, 1992. P. 41—71, здесь P. 58. Особая тема, которой здесь нет возможности касаться, — важная роль Константинополя в мусульманской эсхатологии.

⁴⁴ Орган был, возможно, уже при дворе халифа Аль-Мамуна (813—825). Допустимо теоретическое предположение, что сходные механические чудеса украшали тронные залы некоторых переднеазиатских правителей и до появления в их краях римлян. Тем не менее, вряд ли было бы правильным полагать, будто Аббасиды приобщились к неким древним региональным источникам «символических форм» и развивали местные традиции без посредничества византийских образцов. «Символический вес» константинопольского двора в VIII—X вв. был слишком большим, чтобы у границ византийского культурного пространства возникали столь сложные формы репрезентации, независимые от аналогичных, применявшихся примерно в то же время в Константинополе. Кроме того, судя по тому же описанию, вся «морфология» приема при багдадском дворе строилась по константинопольскому образцу. Соответственно Н.Малиарас, вопреки мнению многих других исследователей, совершенно правильно определяет «вектор заимствований»: не византийцы получили свои автоматы от арабов, а наоборот (*Maliaras N. Op. cit.* S. 164–165, 169). См там же о «Пневматике» Герона Александрийского (III в. до н.э.) как теоретической основе для создания органов и иных акустических механизмов. О золотом троне Хосрова II как аналоге трона византийского императора см. *Ibidem*. S. 148–149.

⁴⁵ Были, естественно, и иные «зарезервированные» формы: от дикого осла онагра, которого так и не отдали Лиутпранду в качестве подарка его государю, до пурпурных тканей, отобранных у того же неудачливого посла на пограничной таможне. Сколь бы потом Лиутпранд ни говорил, что в контрабандном пурпуре красуются толпы итальянских блудниц, а онагры не лучше домашних ослов на улицах Кремоны, очевидно его огорчение от того, что он не смог порадовать Оттона этими весьма значимыми в символическом отношении приобретениями. (*Legatio*, 38 и др.) Об императорской монополии на пурпур см. относительно новую работу: *Steigerwald G. Das kaiserliche Purpurprivileg in spätrömischer und frühbyzantinischer Zeit // Jahrbuch für Antike und Christentum*. 1990. Jg. 33. S. 209—239.

⁴⁶ Среди византинистов давно ведутся споры о времени включения помазания в церемонию коронации. Относительно новый обзор существующих точек зрения см. в: *Lilie R.-J. Krönung // Reallexikon zur byzantinischen Kunst*. Stuttgart, 1995. Bd. 5. S. 439—454. К сожалению, монографическое исследование о византийских коронациях, обещанное этим же автором, до сих пор не увидело свет. Для русского читателя введением в проблематику может послужить работа: *Острогорский Г.А. Ук. соч.* С. 33—42, о заимствовании помазания после 1204 г. С. 39. Б.А.Успенский придерживается мнения, что хотя помазание и появилось в Византии под западным влиянием, но намного ранее 1204 г. — между 950 и 1050 гг., скорее всего при коронации Романа II (959–963) (*Успенский Б.А. Царь и император. Помазание на царство и семантика монарших титулов*. М., 2000. С. 26, 69).

⁴⁷ В 1258 г. «никейский» император Михаил Палеолог так принимал патриарха Арсения (*Ostrogorsky G. Zum Stratordienst des Herrschers in der byzantinisch-slawischen Welt // Ostrogorsky G. Byzanz und die Welt der Slaven. Beiträge zur Geschichte der byzantinisch-slawischen Beziehungen*. Darmstadt, 1974. S. 101—121, здесь S. 106).

⁴⁸ Византинисты давно обсуждают проблему соотношения столицы и провинций, но их постановка вопроса оказывается в контексте того, что здесь обсуждается, слишком узкой. Перспективнее, возможно, попытаться развить «британскую» метафору Д. Оболенского о византийском Commonwealth, только символическое

Сообщество оказывается, судя по всему намного шире того политического, которое имел в виду Д. Оболенский.

⁴⁹ Когда король Нортумбрии Эдвин (616—633), если верить Беде (Церковная история, II, 16), велел носить перед собой штандарт, именуемый «туфой», он, скорее всего, подражал римским (а точнее, «актуальным» византийским) образцам. См.: *Беда Достопочтенный*. Церковная история англос. СПб., 2001 С. 67, 265. Знамя короля Освальда (634—642), поставленное над его гробницей, было «сделано из золота и пурпура» (*aurum et purpura compositum*), что также явно говорит о византийских влияниях. (Там же. III, 11; С. 84) Зато когда в «Саге об Олафе Святом» упоминается «белое знамя со змеем» (*Snorri Sturluson*. Круг земной. М., 1980. С. 191), а в кеннинге «Муха Победы», обозначающем стяг Сверрира, скорее всего «зашифровано» изображение ворона (Там же. С. 120, 132, 171, 262), позволительно предположить, что скандинавы эпохи викингов (или же времени записи саг) оказались менее восприимчивы к воздействию средиземноморских символических образцов, чем англосаксы несколькими столетиями ранее.

⁵⁰ *Kingsley Potter A. Lombard Architecture*. New Haven, 1917. Vol. 2. 632—638.

⁵¹ Сравни различные реконструкции плана Апостолейона в: *Restle M., Hellenkemper Salies G. Konstantinopel // Reallexikon zur byzantinischen Kunst*. Bd. 4. Stuttgart, 1990. S. 366—737, здесь S. 453—454, 457—458.

⁵² О последних см. из новых работ: *Muthesius A. The Role of Byzantine Silks in the Ottonian Empire // Byzanz und das Abendland im 10. und 11. Jahrhundert / Hg. von Evangelos Konstantinou*. Köln; Weimar; Wien, 1997. S. 301—317.

⁵³ *Schramm P.E. Kaiser, Rom und Renovatio*. S. 88.

⁵⁴ См., однако, характерное название известной работы Ф.В. Дайхманна: *Ravenna Hauptstadt des spätantiken Abendlandes*. При том, что автор лучше, чем кто-либо до него, показывает воздействие «византийских» (как столичных, так и провинциальных) образцов на памятники Равенны, он видит в этом городе-резиденции «столицу» «Запада», противопоставляя ее тем самым византийскому «Востоку».

⁵⁵ *Mitchell J. Karl der Große, Rom und das Vermächtnis der Langobarden // 799 — Kunst und Kultur der Karolingerzeit*. S. 95—108, здесь S. 99.

⁵⁶ *Ibidem*. S. 107.

⁵⁷ Несмотря на высказанные рядом критиков замечания, основной работой по культурной ориентации двора Архиза остается: *Belting H. Studien zum Beneventanischen Hof im 8. Jahrhundert // Dumbarton Oaks Papers*. 1962. N 16. P. 143—193 с иллюстрациями. О церкви св. Софии см. С. 175—193 с указанием дальнейшей литературы и различных точек зрения на происхождение как патронии, так архитектурных форм и функционального использования храма.

⁵⁸ О золоте как метафоре света (при том, что свет — образ Бога) и солнца, а значит царя, см.: *Аверинцев С.С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры // Византия, южные славяне*. М. 1973. С. 43—52, особенно с. 46—49. На с. 48 запоминающееся сопоставление двух разных форм «материализации» света: мозаики с золотым фоном — на Востоке и витража — на Западе.

⁵⁹ О Константинополе как Новом Иерусалиме см., например, главу *The New Jerusalem* в: *Shepard P. Constantinople. Iconography of a Sacred City*. L.; N.Y.; Toronto, 1965. P. 79—100.

⁶⁰ Стремление разглядеть в деталях раннесредневековых каменных храмов следы некоей гипотетической «деревянной архитектуры» глубокой древности не чуждо некоторым национальным историографическим школам еще и сегодня.

⁶¹ Эта линия хорошо представлена, например, в трудах историков, группировавшихся вокруг издания *Seminarium Kondakovianum*.

⁶² Очевидно, что в те времена, когда киевские князья именовали себя «каганами», они видели тот «символический центр», которому считали естественным подражать, в Хазарии. Переняв название своего «поста», они, надо полагать, заимствовали (в «периферийной трактовке», разумеется) и некоторые репрезентативные практики, принятые в символической метрополии — Каганате. Переориентация государей руси на Константинополь как на более актуальный «символический центр» должна была привести к перевороту в стилистике самопредъявления властителя. Впрочем, такой переворот мог быть и не столь радикальным, как может показаться, поскольку вряд ли и Хазария в свое время сумела полностью избежать воздействия византийских образцов «оформления» облика государя.

⁶³ *Brühl C. Fränkischer Krönungsbrauch und das Problem der «Festkrönungen» // Historische Zeitschrift*. 1962. Bd. 194. S. 265—326; *Idem. Kronen- und Krönungsbrauch im Frühen und Hohen Mittelalter // Historische Zeitschrift*. 1982. Bd. 234. S. 1—31; *Idem. Festkrönungen // Lexikon des Mittelalters*. Lachen, 1999. Bd. 4. S. 409.

⁶⁴ *Thietmari Chronicon* 6, 32, 312: «*Inter haec quociens rex anxiam iudicum sententiam nutare prospexit, toties prostratus humiliatur*». Сравни: *Althoff G. Zur Bedeutung symbolischer Kommunikation für das Verständnis des Mittelalters // Frühmittelalterliche Studien*. Bd. 31. 1997. S. 370—389. См. также недавнюю работу: *Weinfurter S. Authority and Legitimation of Royal Policy and Action // Medieval Concepts of the Past: Ritual, Memory, Historiography / Ed. G. Althoff, J. Fried, P. Geary*. Cambridge, 2002. P. 19—37, здесь P. 19—20.

⁶⁵ *Krüger K.H. Königsgrabkirchen der Franken, Angelsachsen und Langobarden bis zur Mitte des 8. Jahrhunderts: ein historischer Katalog*. München, 1971. Например, S. 459—473, с основными тезисами на S. 465. Автор не отрицает возможности воздействия на варварских государей образцов и из «старого» Рима — прежде всего мавзолея Елены или мавзолеев у стен Св. Петра, — однако константинопольские влияния ему явно

представляются более существенными. Они проявляются уже в посвящении первой известной нам церкви, предназначавшейся стать королевской усыпальницей, освященной Хлодвигом в честь св. Апостолов (позже на этом месте возобладал патроний св. Женеьевы). О более ранних постройках у вестготов или вандалов неизвестно ничего. Гробница Теодориха, явно подражающая императорским мавзолеям, несет на внешней части своего циклопического «купола» имена 12 апостолов, что также связывает эту усыпальницу с константиновым храмом. Из франкских погребальных церквей, помимо св. Апостолов Хлодвига, известен также храм Св. Креста Хильдеберта (ядро будущего аббатства Сен-Жермен де Пре), и в ней автор также усматривает ориентацию на Константинополь. Констатируя, что церковь, возведенная Хильдебертом, повлияла на храм Петра и Павла в Кентербери, а тот, в свою очередь, на Йоркский собор, К. Крюгер выстраивает цепочку заимствований: Константинополь—Париж—Кентербери—Йорк. Помимо посвящений апостолам, К.Крюгер рассматривает и иные признаки родства этих церквей с Константинополем: использование храма как места погребения не только королей, но и епископов, наличие «погребальных портиков», в ряде случаев крестообразный план. Разумеется, переосмысление исходных образцов шло на всех уровнях. О различиях в смыслах посвящения храмов апостолам (могли подразумеваться все 12 учеников Христа, как, очевидно, в Константинополе, а могли, скажем, только Петр и Павел) см.: *Ewig E. Die Kathedralpatrozinien im römischen und im fränkischen Gallien // Historisches Jahrbuch. 1960. Bd. 79. S. 1—61, здесь S. 28—29. Статья перепечатана в: Idem. Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften (1952—1973) / Hg. v. H. Atsma. München, 1979 (Beihefte der Francia, 3.2). Bd. 2. S. 260—317. Еще один пример подражания константинопольскому храму К. Крюгер усматривает в соборе святого Петра, возведенном королем бургундов Сигизмундом в Женеве.*

⁶⁶ *Schreiner K. Gregor VIII, nackt auf einem Esel. Entehrende Entblößung und schandbares Reiten im Spiegel einer miniatur der Sächsischen Weltchronik // Ecclesia et regnum. Festschrift für Josef Schmale / Hg. von Dieter Berg und Hans Werner Goetz. Bochum, 1989. S. 155—202.*

⁶⁷ *Schreiner P. Omphalion und Rota porphyretica. Zum Kaiserzeremoniell in Konstantinopel und Rom // Byzance et les slaves. Études de Civilisation. Mélanges Ivan Dujčev. Paris, 1979. P. 401—410. В этой статье рассматриваются круги из порфира в церковном пространстве (храм св. Петра в Риме и храм св. Софии в Константинополе), однако автор упоминает примеры таких же «маркировочных кругов» и в светском пространстве императорского дворца (P. 402, 409). Естественно предположить, что появление Omphalia-Rotae в церквях и их использование в литургии (они отмечали место, на котором стоит император – P. 403) могло быть ни чем иным как переносом нормы придворного церемониала в другую, церковную, сферу.*

⁶⁸ *Luchterhandt M. Päpstlicher Palastbau und höfisches Zeremoniell unter Leo III. // 799 — Kunst und Kultur der Karolingerzeit. S. 120.*

⁶⁹ Предлагаемый подход освобождает, кстати, от плутания в лабиринтах формально-иконографических исследований, ведь «источник символического смысла» вовсе не идентичен источнику той или иной иконографической формы. Поиски генетических истоков композиции «всадник, поражающий змею», может в конечном счете уводить не только к коптам, но и к древнейшим цивилизациям Древнего Востока. Однако нахождение бесконечных параллелей не столько проясняет вопрос, сколько в конечном счете запутывает его. «Успех» рассматриваемой композиции связан, вне всякого сомнения, не с древними смыслами, в ней отраженными, а с тем, что она стала яркой составной частью иконографии византийского императора. Об этой ее роли см. едва ли не самую новую (но очень конспективную) работу: *Бутырский М.Н. Иконография императорского портрета на ранневизантийских монетах // Власть, право, норма: Светское и сакральное в античном и средневековом мире. М., 2003. Ч. 2. С. 265—276.*

⁷⁰ *Constantin VII Porphyrogénète. Le Livre des Cérémonies. T. 1. Commentaire. P. 68.*

⁷¹ *McCormick M. Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium and the Early Medieval West. Berkeley/London 1987. P. 289 — с указанием литературы.*

⁷² *Paulus Diaconus. Historia Langobardorum. IV, 22: «Ibi etiam praefata regina sibi palatium condidit, in quo aliquid et de Langobardorum gestis depingi fecit. In qua pictura manifeste ostenditur, quomodo Langobardi eo tempore comam capitis tondebant, vel qualis illis vestitus qualisve habitus erat. Siquidem cervicem usque ad occipitium radentes nudabant, capillos a facie usque ad os dimissos habentes, quos in utramque partem in frontis discrimine dividebant». Далее автор описывает также не лишнюю своеобразия одежду древних лангобардов, причем оказывается, что штаны эти варвары якобы заимствовали у римлян: «Vestimenta vero eis erant laxa et maxime lineata, qualia Anglis habere solent, ornata institis latioribus vario colore contextis. Calcei vero eis erant usque ad summum pollicem pene aperti et alternatim laqueis corrigiarum retenti. Postea vero coeperunt osis uti, super quas equitantes tubrugos birreos mittebant. Sed hoc de Romanorum consuetudine traxerant».*

⁷³ *Феофилакт Симокатта. История. М., 1996. С. 23. (I, X, 6). Перевод С.П. Кондратьева.*